Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://astafevvictor.ru/ Приятного чтения!

Дорога домой (Публицистика)
Виктор Петрович Астафьев

Виктор Астафьев

Публицистика. Сборник "Дорога домой"

Неистовая книга

О книге Дальтона Трамбо "Джонни получил винтовку"

Самые великие антивоенные книги написаны теми, кто познал войну в окопах, грубо, по-солдатски говоря, испытал ее "на собственной шкуре". И всегда, во все времена неодолимо тянет воина на то место, где пролита его кровь и кровь его товарищей, словно бы хочет человек отмучиться навсегда последней мукой, испытать последнее страдание там, где он страдал в войну, и успокоиться. Но никогда еще, ни одному человеку достичь этого желанного покоя не удалось. Наоборот, память начинает терзать бывшего окопника с нарастающей болью и силой. ...

Астафьев Виктор Петрович

Дорога домой (Публицистика)

Виктор Астафьев

Публицистика. Сборник "Дорога домой"

Неистовая книга

О книге Дальтона Трамбо "Джонни получил винтовку"

Самые великие антивоенные книги написаны теми, кто познал войну в окопах, грубо, по-солдатски говоря, испытал ее "на собственной шкуре". И всегда, во все времена неодолимо тянет воина на то место, где пролита его кровь и кровь его товарищей, словно бы хочет человек отмучиться навсегда последней мукой, испытать последнее страдание там, где он страдал в войну, и успокоиться. Но никогда еще, ни одному человеку достичь этого желанного покоя не удалось. Наоборот, память начинает терзать бывшего окопника с нарастающей болью и силой.

Больная память. Вот как она мучается и мучает человека: "Рахе, сгорбившись, сидит в окопе. Вот остатки ремня, два-три котелка, ложка, поржавевшие ручные гранаты, подсумки, а рядом - мокрое, серо-зеленое сукно, вконец истлевшее, и останки какого-то солдата, наполовину уже превратившегося в глину. Он ничком ложится на землю, и безмолвие вдруг начинает говорить. Там, под землей, что-то глухо клокочет, дышит прерывисто, гудит и снова клокочет... ему слышатся голоса и оклики. Рахе встает и бредет дальше, бредет долго, пока перед ним не вырастают черные кресты, ряд за рядом, построенные в длинные колонны, как рота, батальон, полк, армия... перед этими крестами рушится здание громких фраз и возвышенных понятий... страшным обвинением дышит эта ночь, самый воздух, в котором еще бурлит сила и воля целого поколения молодежи, поколения, умершего раньше, чем оно начало жить".

Герой романа Ремарка "Возвращение" Рахе может видеть, слышать, проклинать войну и тех, кто ее сотворил, он может в отчаянии даже покончить с собой, уйти к братьям по окопам, которых он "слышит" в земле, ибо на земле он братства не нашел.

А вот герой романа Дальтона Трамбо "Джонни получил винтовку", Джон Бонхэм, не может ничего. На войне взрывом снаряда у него оторвало руки и ноги, "сняло" лицо. Он не может говорить, видеть, есть и даже плакать. В каком-то ему

неведомом госпитале Джонни держат как экспонат: давая дышать и питаться через зонд, испражняться - через катетер.

Все убито в человеке, кроме разума, памяти, кожных ощущений да способности шевелить головой. Человек этот, или остатки его, весь теперь принадлежит себе и может сколько угодно думать, вспоминать. "Парни всегда сражаются за свободу..." - таково внушенное ему убеждение, но на смену уже приходит сомнение: отчего же тогда не сражаются за свободу те, кто посылал и посылает парней в пекло войны? Им что, свобода не нужна? "Америка с боями прокладывала себе путь к свободе. Сколько тогда полегло ребят?! А что в итоге?! Намного ли у Америки больше свободы, чем у Канады или Австралии, которые за нее не сражались?" И дальше, дальше трудно пробивается мысль бывшего солдата Джона Бонхэма к такой сложной для него, но всем давно известной истине, которая, правда, не меняется в своей сути со дня творения: "Всегда хватает людей, готовых пожертвовать чужой жизнью. Они удивительно горласты и способны без конца разглагольст- вовать. .."

Прочитавши это, начинаешь понимать, отчего роман Трамбо, написанный в тридцатые годы, экранизированный в 1943-м, подзамалчивался в Америке и трудно достиг берегов тех земель, где живут "мирные люди", но их "бронепоезд" постоянно "стоит на запасном пути", и они вроде бы против войны, но не всякой - есть ведь войны локальные, "освободительные", и просто походы в соседнюю страну затем, чтобы навести там порядок и научить соседей пониманию истинной демократии, а вот герой Трамбо считает всякую войну дерьмом, и ищет способы восстать против нее, и даже в его чудовищном состоянии находит возможность бороться за мир.

Когда-то Джонни был научен работать на радиопередатчике и знает азбуку Морзе, и вот он начинает стуком головы "сигналить" о том, чтобы его посадили в клетку, возили по земле и, сняв маску с того места, где было лицо, показывали людям - пусть видят истинный лик войны, пусть содрогнутся и, может быть, остепенятся, одумаются. Но в ответ бывший солдат, не имеющий даже имени, думающий, что он воскрес из мертвых, получает отзвук все той же несокрушимой демагогии: "Ваша просьба противозаконна. Кто вы?"

И снова "они заточили его в непроницаемость, втиснули обратно в утробу, в могилу, да еще и приговаривают: прощай, не тревожь нас, не возвращайся к жизни - мертвый должен оставаться мертвым..."

Когда-то Дальтон Трамбо работал в Голливуде, и по его сценариям было снято немало фильмов, в том числе идущий до сих пор на наших экранах "Спартак", и вместе с большой группой прогрессивных кинодеятелей он отказался отвечать на вопросы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, за что отбыл срок в тюрьме, после выхода из которой опальный сценарист под псевдонимом Роберта Рича продолжал зарабатывать свой хлеб в кино, сотрудничая со знаменитыми режиссерами.

Надо заметить, что кино благотворно повлияло на "перо" Дальтона Трамбо. Прочитав "Джонни...", любой внимательный читатель убедится, как материальна его проза, сжата до предела - маленький роман "Джонни получил винтовку" читается вязко, трудно, кажется книгой огромной, порой непереносимой по силе страдания и боли. И не зря Трамбо "приметил" и выбрал в соавторы "страшный" режиссер Стенли Кубрик. Автор этих строк, вроде бы что-то читавший и даже сочинивший в жизни, медленно "осваивавший" роман Трамбо по страницам, по абзацам, несколько раз с криками от кошмаров вскакивал по ночам с постели.

Страшная книга! Неистовая книга! Но, как рядовой участник войны, повалявшийся в грязи окопов и на госпитальных жестких койках, могу уверить читателей, что война тоже страшная, ничего нет ее страшнее, и писать о ней надо правду, чтоб люди видели всю трагедию и мерзость человеческой бойни.

Дальтон Трамбо не был бы истинным художником, если бы изображал одни только страдания, страх и смаковал их. Нет, его Джонни Бонхэм обыкновенный, земной человек, и ничто земное ему не чуждо, воспоминания о прошлой жизни, о кратком миге молодости, недолгой, но такой доброй встрече с девушкой, о работе на пекарне - полны света и добродушного юмора.

А как блистательно написаны две медсестры, которые его обслуживают в госпитале. Он их не видит, не слышит, он их "чувствует" и до одной казенной, строгой и равнодушной тети не может достучаться. Она его и охраняет более надежно, чем

любой тюремщик, чем любая цепь или каменная стена. Но вот Джонни по шагам почувствовал: в палате появилась молодая, ласковая сестра, и верит, что она его "услышит".

"У нее была легкая походка, тогда как дневная сестра, что работала так быстро и споро, - ступала тяжело. Новой сестре требовалось пять шагов, чтобы дойти от двери до койки. Значит, она пониже той, другой сестры и, вероятно, помоложе ее, потому что дрожжание пружин от этих незнакомых шагов казалось ему плавным и даже каким-то радостным".

Эта сестра не содрогнулась от жуткого зрелища при виде ран Джонни, не убежала стремглав из палаты. Она даже положила ладонь на его лоб. "Ладонь эта молодая, маленькая, влажная. Сморщив кожу на лбу, он дал ей понять, что слышит ее и благодарит за ласку и привет". "Это было вроде передышки после долгого напряженного труда".

Сестра расстегивает на нем рубашку и начинает чертить пальцем по груди. После долгих мук, сделав невероятное усилие, он "прочел" начертанное на остатках его еще живого тела: "С Рождеством Христовым!"

Джонни в припадке истерического счастья! Не знающий, сколько лет он пробыл в одиночестве, счастливый Джонни наконец-то нашел союзника и друга. "Это как ослепительный луч среди мглы".

Но не помог ему и этот союз. Попытка Джонни Боэнхэма с помощью сестры милосердия связаться с миром, показать людям весь ужас войны признается "противозаконной".

Но что же тогда закон? Что? Подготовка к новой войне? Новое кровопролитие, смерти, калеки, страдания?

Нет, нет и нет. Джон Бонхэм, наперекор грозным силам войны, продолжает посылать сигналы миру, разбивая голову о госпитальную койку, шлет свой протест, свои требования, добытые страданием и кровью. "Если же вы собираетесь начать новую войну... если снова надо убивать людей, то мы этими людьми не будем... Мы люди мирного труда и не желаем войны... Мы хотим быть живыми и ходить, и разговаривать, и есть, и пить, и смеяться, и чувствовать, и любить, и растить своих детей в полном спокойствии, в безопасности, чтобы они стали достойными и мирными людьми".

Дальтон Трамбо не был на войне, но так "проникся ею", борясь с силами зла, так возненавидел насилие и страдание, что смог создать одну из самых неистовых книг в мировой литературе, яростно сражающихся за нас, за нашу землю, за нашу единственную жизнь.

1989

Вглядываясь вглубь

О повести Валентина Распутина "Живи и помни"

"Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск, чистый, ласковый и подталкивающий. В нем звенели десятки, потом сотни, потом тысячи колокольчиков. И сзывали те колокольчики на праздник. Казалось Настене, что ее морит сон. Опершись коленями о борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь вглубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка".

Тот, кто хоть раз испытывал чувство бессилия от невозможности помочь близкому человеку, погибающему на глазах, ужмется в себе, еще и еще раз переживая человеческую трагедию, и еще раз потрясет его свет этой самой спички, вспыхнувшей "у самого дна" не реки, нет, а жизни, таинственный, никем еще не угаданный, потусторонний, что ли, неотвратимо светящий во все времена всем самоубийцам.

Простая из простых, молодая, перед миром и людьми чистая женщина наложила на себя руки, а во чреве ее ребенок, а в избе, узнав о ее гибели, умирает мудрый старик Михеич, свекор Настены, защитник ее и наставник на все военные одинокие бабьи годы. Но и на этом цепь не обрывается - крадется в каменную пещеру Андрей

Гуськов, и ясно, что долго ему там без забот и помощи жены не протянуть, а уже кончилась война, и друзья Гуськова, оставшись в живых, уже возвращаются домой. Вот и ему бы тоже открыто, заслуженно, с медалями на груди...

В нашей литературе так много говорилось и писалось о тех, кто был на войне, испытал ее, так сказать, на своей шкуре, и о тех, кто не был, что вроде бы недостача эта в биографии сделалась упреком литератору, берущемуся за "военную" тему, но пороху не понюхавшему.

Валентин Распутин не был на войне по простой причине - годами не вышел, но это обернулось в повести "Живи и помни" не изъяном, а преимуществом его перед теми, кто был. Ведь возьмись наш брат бывший фронтовик писать о человеке, который до того устал на войне и от войны, что однажды забыл обо всем и обо всех на свете да и задал тягу домой, к жене и родным, так вот непременно в нас явилось бы чувство активного протеста, если не ослепляющей злости: "Ты, гад, устал, а мы, значит, нет!" И начали б мы этого самого Гуськова крушить и ляпать черной краской.

Распутин насмотрелся на бывших вояк и вдов, наслушался их, вник в самоё суть войны и зашел на эту тему со своей глобальной стороны, поднявшись над материалом, а не задавленный тяжким его грузом.

Страшна, чудовищна война, нечеловеческие силы, надсада нужна, чтоб одолеть ее, а помощь тебе одна, но очень и очень важная помощь: сознание того, что за твоей спиной Родина, народ, и среди этого народа малая его частица - твои близкие - отец и мать, сестры, братья, любимая невеста или жена, и другого пути к ним нет, как через победу над врагом. Расслабился, забыл об этом - значит, позор, горе и черная кончина. Да кабы кончина на миру, где, как известно, и смерть красна. Нет, кончина звериная, потайная, тленом своим погибельным касающаяся всего живого, и в первую голову родных людей. Вот Настена-то несла, несла свой тяжкий крест да и сломилась под его тяжестью.

Печальная и яростная повесть, несколько "вкрадчивая" тихой своей тональностью, как, впрочем, и все другие повести Распутина, и оттого еще более потрясающая глубокой трагичностью, - живи и помни, человек: в беде, в кручине, в самые тяжкие дни и испытания место твое с твоим народом, всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразуменьем ли, оборачивается еще большим горем для твоей Родины и народа, а стало быть, и для тебя. Так от изображения, от размышлений о людях маленьких и самых что ни на есть простых автор "незаметно", но настойчиво переходит и ведет за собой читателя к многомерному, масштабному осмыслению не только прошедшей войны, но и современной действительно- сти, ибо человеческое бытие вечно и, стало быть, вечно движение жизни. А она задает загадки, пробует на прочность не одних только деревенских парней Гуськовых, она в любой миг любого человека может испытать "на излом".

Прям, но не прост путь самого автора к этой самобытной и глубоко нравственной повести - от несколько назидательных, порой схематичных рассказов и очерков к драматической повести "Деньги для Марии", написанной еще молодым литератором. Но уже в следующей повести - "Последний срок", произведении глубоко лиричном и умном, Валентин Распутин предстает вполне сложившимся художником, тонким психологом и стилистом. Далее следует почти не замеченная, но очень важная на творческом пути писателя повесть "Вверх и вниз по течению", в коей Распутин, завершив очень важный печальный этап в работе, как бы отошел чуть в сторону, чтобы взглянуть на ту дорогу, какую он сам себе торил, да и поразмыслить о дальнейшей своей судьбе, стало быть, и о судьбе родной земли. Размышления оказались плодотворными, если судить по следующему его произведению - "Живи и помни", лучшей, на мой взгляд, повести в нашей литературе последнего десятилетия. Чистый тон и высота этого произведения обещают движение автора к вещам еще более сложным, а читательское мое предчувствие подсказывает - может быть, и эпическим.

1978

Боль

О повести Василя Быкова "Пойти не вернуться"

Когда будет издано вместе все написанное за четверть века замечательным нашим

писателем-современником Василем Быковым, выстроится своего рода, если не история, то его, Быкова, личная летопись войны, развивающаяся как бы по двум направлениям - чисто фронтовому, окопному, и партизанс- кому, народному.

Сам Быков партизаном не был, он воевал на фронте, в пехоте, в маломерной артиллерии, был там ранен, и об этой войне начал и успешно продолжает писать, добиваясь все большей объемности и углубленного психологизма в небольших по размеру повестях: "Журавлиный крик", "Третья ракета", "Атака с ходу", "Дожить до рассвета", "Его батальон". Кто из читающей публики не знает и не любит этих произведений, полных драматизма, достоверных до мельчайших подробностей фронтового быта, всегда четко распределяющих краски: белое - это белое, черное - это черное! Добро у него не смешивается со злом, меж ними даже не размываются границы, всегда видно, с кем сердце писателя.

Особняком в творчестве Василя Быкова стоит повесть "Альпийская баллада". Она-то, как мне думается, и послужила мостиком к той теме, которую мы привычно называем темой народной войны. Появляются "Круглянский мост", "Сотников", "Обелиск", "Волчья стая".

И вот перед нами новая повесть - "Пойти и не вернуться". Как будто привычно "быковская" - в прежних произведениях часто действуют двое: бегут из концлагеря двое, двое отправляются на поиск, а то исполняют и совсем уж будничную работу - идут добыть продуктов для партизанского отряда, обложенного в болотах врагами. Да, повесть привычная, но в то же время еще более напряженная, страстная; простая по стилю и строю - и в то же время сложная, хотя и не многоплановая по замыслу и исполнению. И еще новость в творчестве писателя: на этот раз главным героем его произведения является женщина, и не в дежурном, затасканном смысле слова "герой", а, как окажется, в самом что ни на есть прямом смысле, хотя и автор, и сама Зоська Нарейко склонны считать: "Она была маленьким человеком на земле..."

Увы, земля рождает людей вообще маленькими и беспомощными, это потом жизнь, воспитание, среда, обстоятельства формируют их характер, жизнеспособность, совесть. Вот о совести-то больше всего и задумывается автор этого небольшого, но самого, пожалуй, драматического, если не трагического его произведения.

Никто из нас не рождается для войны, а Зоська Нарейко - тем более. Она только-только начала учиться в районном педтехникуме и была бы, наверное, славной воспитательницей детского садика или учителем начальных классов в сельской школе, потому что она "добрая, как ее мать", - это не раз повторит автор то своими словами, то в мыслях- воспоминаниях Зоськи. Наверное, вышла бы замуж за Сашку, которого хотя и не любила, но он за нею ухаживал, и пришла бы пора, он бы ее посватал, и она бы пошла, жила бы своим домом, нарожала бы детей, была бы хорошей хозяйкой и матерью, - в это верится, это подтверждает весь строй повести. Но война нарушила ход мирной жизни, сломала, опрокинула ее естественность, и тихая Зоська, "маленький человек", становится партизанкой. Вначале ее обязанности просты и обыденны: она состоит при кухне. Но вот пришел час, когда выпадает Зоське Нарейко выполнить свой долг, одной идти на задание, очень сложное и опасное: из партизанского отряда ушла в поиск и не вернулась группа партизан, бесследно исчезла, - надо или найти ее и установить с нею связь, помочь ей, или же проследить "по ниточке партизанской связи" путь партизан к гибели.

Положение сложное, фронт от Белоруссии далеко, слухи оттуда самые противоречивые: не то немцы взяли Сталинград и двинулись в глубь России, не то наши их шуганули от Сталинграда...

Для Зоськи Нарейко важно знать, что и как "там, под Сталинградом", но еще важнее выполнить свое дело, выиграть "свою войну". Увы, ей не суждено будет это сделать - шкурник присосется к ней и за ее неширокой спиной попытается спрятаться от войны, ибо у шкурника выработалась своя шкурная мораль: "Ведь тут борьба. Кто кого". В смысле кто кого переловчит, перехитрит, сохраняя себя. И у Зоськи, "напичканной пропагандой", почти также сформулирован жизненный принцип, но с "небольшим" изменением в конце: "Или мы их, или они нас".

Нет надобности пересказывать новую повесть Василя Быкова. Она небольшая по размеру, читается в один дых, от нее невозможно оторваться, а когда она кончится, еще какое-то время звучит в сердце горечь недоумения, боли, хочется

броситься на помощь хорошим людям, облегчить их страдания, подставить свое плечо. Все они написаны великолепно, все запоминаются, едва только явившись на страницы: больной чахоткой Петряков, его помощник, юный, почти мальчик - Бормотухин, смирный пан с мудрой паненкой, сержант со своим "японским городовым", толстый Пашка, мужик Салей и даже оборотистая молодка, приехавшая со своим мужем-примаком (то есть окруженцем, вошедшим в ее дом в качестве хозяина") за лесом, чтобы подрубить сопревшие нижние венцы ее дома.

Беру на себя смелость сказать, что хорошо знаю творчество близкого мне по духу, превосходного писателя Василя Быкова и радуюсь тому, что мой побратим по войне, честно и твердо выполняющий долг бойца и гражданина, новой повестью сделал шаг вперед в своем сложном и напряженном творчестве, прибавил еще одну страницу к героической летописи нашего народа, с огромным перенапряжением сил, с большими, часто горькими потерями выигравшего величайшую битву. В Белоруссии в борьбе с ненавистным фашизмом погиб каждый четвертый житель, и где-то, в этой массе безвременно, порой безвестно павших мужчин, женщин, детей, стариков, угасает, не успев разгореться, жизнь Зоськи Нарейко, воскрешенной благодарной памятью писателя, чтобы еще и еще мы восхитились величием человеческого духа, подивились его стойкости, несгибаемости. Мы видим в повести человека страдающего, делающего ошибку за ошибкой, гибнущего от несправедливости, черной злобы и коварной трусости. Но так праведна жизнь, так светлы помыслы этой юной, неискушенной девушки, что не льнет к ней грязь и хочется, чуть переиначив поэта, воззвать: "За каплю крови, общую с народом, ее вину, о Родина, прости!"

Поставив в центр нового произведения женщину, автор не заискивал перед нею, не приседал, хотя где-то в душе и виноватился перед женщиной на войне вообще и перед молоденькой Зоськой Нарейко в частности, ибо война не то место, где надо находиться женщине, ей там гораздо сложнее и труднее, чем мужчине, а порой и просто невыносимо.

Изображение женщины в литературе вообще дело сложнейшее, а еще на войне, да на такой ужасной, как прошлая, - тем более. Но вот взялся мастер за дело, и все "женские слабости": "грехопадение" смятенность и запутанность чувств, наивность, растерянность, неумелость - все-все такое вроде бы не идущее "героине", не мешает полюбить ее горькой и раскаянной любовью, страдать вместе с нею и за нее.

И в этом большая победа автора, доказавшего новой повестью, что писать можно о чем угодно, в том числе и о молоденькой девушке, захваченной вихрем кровавой, страшной битвы, только делать это надо умело, страдать за хороших людей, любить их открыто и так же открыто ненавидеть подлецов, порождающих зло и неправду на земле, в крутые смертные времена, а порой и в обыденной жизни запутывающих себя и таких вот чистых и доверчивых сердцем людей, как Зоська Нарейко, ибо "правда требует простоты, ложь - сложности...". Так сказал еще великий Горький.

1979

...И в поселке Тагул тоже

Сибирская река Кеть, в которой вода "коричневая, как чай... Пахнет живой рыбой, илом и моченой древесиной", течет себе, течет, "вспыхивает", искрится" и, "словно расслабившись после тяжелой работы, свободно и вольно раздается вширь".

А на берегу реки Кети в небольшом поселке Тагул идет неторопливая жизнь, на первый взгляд безмятежная и даже идилличная, но жизнь, как река, она не только сливается с другими жизнями, она не только "искрится", но еще и "вспыхивает".

Главное действующее лицо повести "На реке да на Кети", молодого писателя Николая Волокитина - тетю Олю Типсину - я никак не могу решиться назвать героем или героиней. Портрет ее, что ли, неподходящ для этого высокого слова? "Сгорбленная и чуточку косолапая, как и все рыбаки-чалдоны, большую долю жизни проводящие сидя в лодке...", она еще, кроме всего прочего, курит трубку, еще и слов крутых не чуждается и много чего грубого, мужицкого сотворить умеет, особенно в работе.

И тем не менее облик ее складывается и западает в память не по этим внешним приметам. Глазами соседского парня и рассказчика Коли, друга тети Олиного сына Мишаньки, глядим мы на тетю Олю и открываем в ней одну за другой такие черты характера, что и сами невольно начинаем видеть и любить тетю Олю за ее почти детское удивление каждодневной жизнью, ее сметливость и ненадоедную, как бы саму

собою разумеющуюся доброту, которой ради она вроде бы и существует и которую делает каждый час, каждую минуту безо всякой натуги.

Просто тетя Оля есть такая, как есть, и жители Тагула, очень разношерстный народ, пользуются тети Олиными услугами так же свободно и бездумно, как пользуются они водой из реки или дышат воздухом.

Уже престарелая, с больными ногами, ловит тетя Оля рыбу и кормит ею всех приходящих в ее маленькую барачную комнатушку, отдает часть улова безалаберной цыганской семье, глава которой по имени Спартак именует себя "трудовым пролетарием", а вот жить оседло и кормить ребятишек с женой не приучился. Тетя Оля еще, кроме того, лечит почти весь поселок от всевозможных недугов травками-муравками, лечит весело, с лукавинкой.

Мимоходом же тетя Оля пытается утешить бойкую и несчастную в любви Феньку, перестроить деда Шутегова на мужицкий лад, потому что тот всю жизнь своей "дебелой бабы боится", и вовлечь в полезное дело сына и друга его Кольку пытается.

Легкий у нее нрав, у тети Оли, смешливый. Ей великое удовольствие доставляет потешаться над неповоротливостью и неловкостью сына Мишаньки. Вот Колька рассказывает, как Мишанька учился в школе и, когда его попросили раскрыть "идейный замысел рассказа Тургенева "Хорь и Калиныч", ответил, что "Иван Сергеевич... товарищ Тургенев... вывел знаменитые образа". Но особенно самоуверен был ответ Мишаньки на вопрос математика: "Что больше; одна вторая или одна четвертая?" - "Ну дак... тут-то кажному ясно. Конешно, одна четвертая в два раза больше..." - "Ой-ой-ой! - трясет головой, закатывается тетя Оля... - Ой, тошнехонько мне, люди добрые!.."

Вот так и течет жизнь на реке да на Кети, в лесном поселке Тагул. И была опасность у Николая Волокитина скатиться в занимательное бытописательство, угостить нас набором поселковых чудаков, которые бойким строем шествуют сейчас по нашей литературе и развлекают доверчивого читателя байками всевозможными, а иному читателю делается от такого чтения скучно...

Да слава Богу, не соблазнился легкостью сюжета молодой автор и как бы между делом углубил и оснастил свою повесть сказами тети Оли о том, как она в гражданскую войну помогала партизанам и, будучи раненной в голову, сумела добраться до них, чтобы предупредить о намечавшейся карательной экспедиции белых. Еще более драматичен и одухотворен поэтично написанный сказ о том, как тетя Оля боролась за свою собственную любовь в молодости, за мужа будущего своего, отца Мишаньки, которого давно уже в живых нет.

Автор все время поворачивает к нам тетю Олю то одной, то другой стороной, и характер ее обретает все большую цельность и наполненность. И потому становится ясно, отчего к ней так тянутся люди, так просто, без ужимок и поклонов пользуются ее кровом, советом и помощью.

Затеял строить дом цыган Спартак, и где же он обойдется без тети Оли? Взялась она приплавить ему лес. И поплыли они на плоту по реке да по Кети тетя Оля, Спартак, его жена Рада и еще цыган Артур. Но река Кеть может не только "искриться и играть бликами". Это сибирская река. И вот ветер "чиркнул по реке" и река в какой-то миг из гладкой сияющей стала "свинцовой и рыхлой...". И разбила, растащила плот река, а обласок (лодка), прицепленный к плоту, четверых не удержит. Это знает и понимает тетя Оля, да не понимают цыгане. И тетя Оля, ругаясь, проклиная и ласково уговаривая Спартака, отталкивает обласок, потому что у Спартака пятеро детей, а ей, тете Оле, уже за шестьдесят...

"Тетю Олю мы нашли только на четвертые сутки. В еловом заливе. Среди щепок и бревен в затопленных тальниках".

Проста и естественна жизнь тети Оли, прост и естественен ее конец. Жить для людей, быть им необходимым можно и нужно везде, и на реке Кети, в далеком поселке Тагул - тоже.

С горьким чувством утраты закрываешь повесть Николая Волокитина, но высветлено оно, это чувство, щемящей любовью к людям, тягой к ним. И не покидает уверенность, что на Кети ли, на Чуне ли, на реке Мане ли или на самом Енисее

много живет таких вот Типсиных, и мир держится ими, добротой их бескорыстной, нескончаемой.

И не хочется почему-то по традиции делать замечания молодому автору, хотя много еще недочетов и промахов в его первом произведении.

Пусть-ка автор, так душевно и талантливо рассказавший нам о тете Оле Типсиной, своим умом дойдет до всего, преодолеет рыхловатость, перегруженность слога местными речениями, научится строже отбирать материал для своих вещей. Пока он еще увлекается, и многовато мелькает оттого в его повести людей, а точнее, имен их, и совсем ненужных подробностей. К мастерству ведь тоже идут через болезни, утраты, и не всегда литературные няньки приносят одну только пользу, порой они сбивают с панталыку и подминают под себя "литературного младенца".

Живет Николай Волокитин в одном из красивейших мест Красноярского края, в селе Казачинском. Неподалеку от этого села бурлит, пенится и гудит неукротимо знаменитый Казачинский порог. Не одному уже сибирскому писателю родная и прекрасная земля помогала твердо встать на ноги, а несмолкаемое гудение порога, его могущество и стремительный бег Енисея меж грозных камней добавляли сил, яркости красок и страсти их самобытному слову.

1970

Плечо товарища

С Петром Борисковым мы познакомились и близко сошлись на Высших литературных курсах. Как-то разговорились, и оказалось, что в сорок втором году осенью служили в одном запасном полку, в пехотном, и, зная, какое плохое зрение у Пети, я, естественно, поинтересовался: как же он в армию угодил, да еще в пехоту. Ведь стрелять же надо из винтовки.

- А я обманул военную комиссию, чтоб попасть на фронт, - простодушно улыбаясь и помаргивая подслеповатыми глазами из-за толстых стекол очков, ответил Борисков. - Не мог же я сидеть в тылу, когда все мои сверстники там... воюют.

В этом поступке весь Петя Борисков! Душевное расположение к людям, заинтересованность в их судьбе, а значит, в судьбе народа, Родины своей, сострадание, доброта и какая-то неистребимая, порой наивная вера, что все в мире и в первую голову в человеке устроено по идеальным чертежам и только надо помочь человеку возвыситься до идеала, - вот самая, пожалуй, главная черта характера этого много пережившего, немало страдавшего и глубоко мыслящего писателя, верного товарища и человека.

Всем, кто знает Петю, известно, что он любит поразмышлять вслух, и в этих размышлениях часто он бывает идеалистом, но никогда и ни в чем не бывает равнодушным человеком.

Жизнь распорядилась так, что время свое и силы Борисков был вынужден расходовать на общественные и семейные дела, и оттого написал немного, однако и по этому немногому можно видеть, что проза Борискова похожа на него самого, она бывает неуклюжа, рассудочна, но везде и всюду, в очерках, в рассказах, в драме ли, есть главное - искренность и доброта, без чего, как известно, искусство, а тем более литература, не только невозможны, но и попросту никому не нужны, ибо первостепенная задача писателя противостоять злу, утверждая добро.

На жизненном примере Пети Борискова убеждаешься: чтобы учить добру, надо прежде всего быть добрым самому - везде и всюду, постоянно, терпеливо, даже если судьба делает все для того, чтобы ты озлился на людей и на себя. Но этот легкий, увы, не так уж редко избираемый людьми путь в жизни - удел слабых и безвольных.

Сильному и свободному человеку всегда бывает и будет труднее, но сильными и свободными держится мир, утверждается прекрасное на земле.

Вот почему я верил и верю, что Петя Борисков, мой давний и верный товарищ, напишет еще очень и очень много, - напишет задуманный роман, пьесы, рассказы, но самое главное, сделает много людям добра, ибо творить добро, и не только пером, каждодневно, ежечасно, есть воистину назначение его жизни, - такова уж душа этого человека, душа нараспашку, как говорят в народе.

Пятьдесят лет - это немало для людей нашего поколения, много пережившего и сделавшего. Но я никак не могу представить Петю старым, усталым. Мне кажется, он не изменился с тех пор, как я его узнал, да и не способен меняться - все так же бьет ключом энергия его и деловитость, все так же юношески наивен он порою в рассуждениях, в отношениях к людям и к жизни, что является признаком молодости его доброго сердца, и, верю я, как и в сорок втором, если кому-то - нам ли, его товарищам и собратьям по перу, родине ли нашей многострадальной - сделается трудно, нужна будет помощь Петр Борисков, не думая о себе, преодолевая любые испытания, придет на помощь, возьмет на себя любую тяжесть, или, как опять же говорится в народе, подставит свое плечо под комель.

1974

Тихая моя родина

Эта, исполненная светлой любви и печали фраза все время звучала во мне, пока я читал книжку Игоря Лободина "Пучок земляники".

Долго и трудно готовил свою первую книжку молодой писатель. "Ягодка по ягодке" в течение нескольких лет собирал он свой маленький "пучок". И получилась книжка хорошая, уверенная.

Вот отрывок из рассказа "Белым днем", где повествуется о том, как немцы среди бела дня выгоняют из села жителей, чтобы сжечь дома и обездолить людей.

"Готовый в дорогу, я бесцельно обошел гулкий опустевший дом с распахнутыми настежь дверями, опрокинутыми в суматохе стульями, голыми стенами, на которых еще вчера висели фотокарточки в ореховых рамках, тусклое зеркало, икона под рушником в святом углу, украшенном соломенными жаворонками, из бумажного крепа крыльями, Этот угол, сиявший по утрам лампадой, теплой позолотой витого оклада иконы, теперь был сумрачный пустой. В одном из окон пузырилась занавеска. Она то падала, прилипала к выбитой шибке, то поднималась, открывала лудку подоконника. На ней в пустой бутылке отчаянно жужжала муха, лежали забытые ножницы и Танькина тряпичная матрешка с яблочно-круглой и полуоторванной, на живой нитке, головой. В разбитое окно тянуло сырым холодом, едва заметным паром тумана. Вместе с теплом из дома, казалось, ушли его прежние запахи. В пустых комнатах уже сквозил отчуждающий землисто-тяжелый запах покинутого жилья".

Я не буду увлекаться цитированием, хотя, признаюсь, делал бы это с большой охотой. Очень уж полны - одухотворенны и образны - строки в этой небольшой, скромно изданной книжке.

Уже по этому кусочку из рассказа нетрудно догадаться, кто есть любимый писатель Лободина. И жил он в тех же местах, довольно-таки неприметных на посторонний взгляд. И все же умел Бунин увидеть здесь столько природы, столько ее прелестей и так их воспеть, что вроде и нет краше земли, чем орловская. Видно, не в природе дело, а в душе, которая умеет слышать свою "тихую родину", в глазах художника, которому дано увидеть такое, мимо чего люди часто проходят скучно и равнодушно. Ведь вон та же буйная, красотами переполненная Сибирь описывается иными писателями так, что зевать хочется от скуки.

Орловца Лободина не пролистаешь! Наоборот, нет-нет да и вернешься к тому или иному абзацу, да и "обсосешь" его; перечитаешь, пораженный дотошностью его глаза. Он видит, что "на телегу, отправляющуюся в изгнанье, родная береза насорила желтого листа, и на корове, меж худыми кострецами на них хоть сумки вешай - "желтели листья". Бросит мимоходом: "В подстепье теперь и кусты в радость, потому как настоящие деревья, будто старики, повымерли". Или: "За решеткой окна, над рожью, плавились корни молний".

И ныне живущего наставника Лободина, соседа по земле, курянина Евгения Носова почувствуешь в этой книжке. Ему и посвящен лучший рассказ в сборнике "Крыша" - незамысловатая история о том, как у Арины Каблуковой, недавно вышедшей на пенсию и живущей в деревне Обыденовка, что затерялась "в море ржи на суходольном косогоре...", ветром сорвало крышу и как соседи и пастух Николай покрыли ее новой, "прогонистой" соломой.

Много радости, много света в этом в общем-то грустном рассказе, из которого

узнаешь не только о жизни Арины, но и о нелегкой любви двух людей, не соединенных жизнью, о привязанности молодой и доброй женщины к детям, которые могли бы быть ее детьми, да не "сулил Бог".

Всего в первой книжке Игоря Лободина семь рассказов. Они довольно ровно сделаны, хотя немножко выбивается этюд "Адажио", от которого ждешь чего-то большего и ровно бы обманываешься в ожиданиях, ибо уже настроен предыдущими рассказами на спокойный подробный разговор о тихой, неприметной жизни, наполненной простыми, но поэтическими житейскими буднями.

Пересказывать Лободина трудно, потому я не стану этого делать. Лучше прочесть его книжку и порадоваться его уже крепкому слову и тому, что в литературу нашу приходит терпеливый, несомненно талантливый труженик, умеющий не торопиться в работе и взвешивать слово, как взвешивает каменщик на ладони кирпич, прежде чем положить его в стену дома, где было бы хорошо и тепло жить людям. Лободину предстоит еще проделать трудную работу, оставаясь верным духу и звуку знаменитого земляка, преодолеть его ощутимое влияние. Но я верю, что он справится с этим, порукой тому его серьезность в творчестве, ведь до того как опубликовать рассказ, молодой писатель много раз переписывает его, выверив каждое слово на слух, на вес и на запах.

1970

Золотинка

Все, кто когда-либо бывал в Красноярске, непременно замечали часовенку на Покровской горе, которая так установлена, к тому месту приделана, что с какой бы стороны ты ни шел, ни ехал, ни плыл, ни летел, первой непременно увидишь ее.

В прошлом году я с радостью приметил на часовенке реставрационные леса. Пора, давно пора привести в порядок эту разоренную и обезображенную достопримечательность города - не так уж богат Красноярск архитектурными памятниками.

... А была на этом месте когда-то караульная вышка, и гора называлась Караульной оттого, что стоял на ней самый настоящий казачий караул, охранявший от набегов Красноярский острог, не единожды горевший, многие напасти и беды претерпевший и все же выстоявший, доживший до нынешних времен, до грандиозного размаха строительства.

Сюда-то, на гору Караульную, к караульной вышке, поднимается умирать старый казак Афонька - герой ладной и складной книги Кирилла Богдановича "Люди Красного яра". Перед тем как подняться на гору, исполняет казак Афонька последние дела на земле, прощается с родней своей, дает такие простые и надежные наказы сынам и внукам: "Ну вот, собрались все, заговорил дед Афонька после того, как долго и молча оглядывал их. - Вот. А мне, стало быть, в иной путь пора..."

Троекратно поцеловав старшего сына, тоже Афоньку, отходящий "в иной путь" казак наказывает, чтобы все жили семейно - оброк один будет, чтобы к службе государевой радели и в "шатости" друг дружки держались, а главное, чтоб помнили, что "наш корень сибирский берегчи надо.. И никуды с Сибири... не сходить".

Дальше идут просто, но эпически широко и звучно написанные Богдановичем картины прощания с землей, сделавшейся родной и любимой казаку Афоньке, с острогом, который он не раз защищал от набегов степняков и дуроломов-воевод.

"Он шел по острогу сам. Шел медленно, часто останавливался, глядючи по сторонам. По бокам шли оба Афоньки, а сзади Тишка вел в поводу оседланных коней".

И вот семейная свита на Караульной горе. Сыны, что "свершились" при броде через речку Качу, помогли старому казаку спуститься на землю.

"Он закинул голову как можно выше и увидел клок неба, слепящего своей голубизной. Эта голубизна ослепила его и начала падать на него сверху: стало светло-светло, до боли в глазах. Он еще раз вскинул голову и уже больше ничего не увидел... Афонька присел рядом с телом отца и задумался. О том, что и он вот умрет, но зато останутся дети его и их дети. О том, что надо исполнить наказы отца. Потом опять стал думать о смерти. Не о своей, а так, почему она есть? Жили

бы и жили все не помирая. Земли эвон сколь - на всех бы хватило... А колокол на остроге все бил и бил. И на сопку поднимались все новые и новые люди, и все подходили к усопшему, сняв шапки, крестились и желали ему Царствия Небесного".

Я намеренно начал разговор о книге "Люди Красного яра" с конца: ведь любая жизнь все-таки итогом, полезностью значима. А жизнь простого казака Афоньки, о котором написаны сказы, была полностью отдана служению людям, родной земле, утверждению на ней добра и справедливости.

Много всякой всячины увидит, узнает и сотворит этот самый казак сибирский, даже и в чины выйдет - десятником, после и сотником станет, но не утратит при этом доверительной простоты в отношениях к людям, строгости и чести в исправлении "службы государевой", проявляя сноровку, терпение и храбрость, так необходимые в тех диких краях и в ту пору людям, заселяющим и обживающим новые земли. Но, как ни крути, казак Афонька ухватками, характером, всем укладом жизни больше все-таки хлебороб и промысловик, и устремления его самые земные.

Никакой казацкой спеси в Афоньке, никакого гонора - земной, "востротолый", то есть умеющий много видеть, он тянется к земле, к знаниям и сходится с монахом-летописцем Богданом, который затеял доброе, но по тем временам шибко "крамольное" дело - описать для будущих людей, как и что тут было. Да вот беда - во все века и всем людям нравилось и нравится, чтоб помнилось и писалось о них только одно хорошее, а летописец врать не может, записывает все как есть. Кому ж такое поглянется?

Воеводы и казацкие главари устраивают пожар, в котором гибнет летопись Красноярского острога, и бедный монах Богдан уходит в края иные, "слезьми уливаясь"...

Читая книгу Богдановича, я подумал вот о чем: сколько же труда, старания и умения, большого умения, не побоюсь этого слова, потребовалось автору, чтобы собрать по крохам, редким записям, ведомостям и старым документам историю родного города и края, да и написать об этом, как уже говорилось, складно и ладно, не заполняя бумагу дешевыми "страстямиужастями", которые так любят, просто обожают громоздить писавшие и ныне пишущие о Сибири авторы, эксплуатируя "экзотику Сибири", "сибирский характер", который вроде бы как издавна пришел, так и закаменел со страшным мурлом головореза, насильника и каторжанина.

Было, все было здесь, в великой сибирской глухомани, - и грабежи, и смертоубийства, как, впрочем, и в лесах муромских, и в достославных "градах Новгороде и Пскове", да и по всей Руси нашей много чего бывало, - только зачем же литературные-то скамейки ломать?

Богданович не ломает их, а уж о таких ли далеких и смутных временах повествует! Вот бы, казалось, напустить ему мороку, крови, смертей, бесовства и колдовства в сказе "Афонька правит посольство", но Богданович не поддается искусу ложной занимательности, ведет сказ мягко, изящно и даже с юмором. Мне особенно понравилось место в сказе, где казак, то бишь посол Афонька, вступил в переговоры с киргизами: "Заспоривши, Афонька вгорячах и не заметил, как он, не дожидаясь, что ему толмач переложит, начал говорить по-киргизски. И киргизин, и толмач тоже вгорячах такого не приметили. А толмач уже и вовсе путал, кому и как говорить, и кричал Афоньке по-киргизски, а своему киргизину по-русски... Афонька меж тем рассердился вконец: "Да вы чо?! Вы на конях, а я пешки пойду! Да ни в жисть не бывать, чтобы посол пешим шел..." - Афонька даже плюнул с досады и сел наземь... Конные киргизы шумели, грозили, за сабли и луки хватались. Тогда Афонька вскочил, натянул шапку покрепче и, не глядя по сторонам, пошел обратно, откуда ехал".

Хорошую книгу написал мой земляк Кирилл Богданович. Мне же в заключение хотелось бы поделиться вот какой невеселой мыслью: езжу я немало по городам и весям российским, всюду встречаюсь с людьми, которые, не жалея, как говорится, живота своего, роются в пепле истории, выискивая редкие, бесценные крупицы из далеких времен о прошлом "своего города", своей родной земли, озвучивают голоса наших далеких славных предков, делают иногда это любительски, а иногда и по-писательски профессионально, как вот Кирилл Богданович. Труд их мне хочется уподобить труду замечательного вологодского реставратора Николая Ивановича Федышина, который из-под многих слоев красок, из-под закостеневшей копоти и пыли веков добывает и "открывает", и высвечивает истинные, бессмертные лики на

фресках и иконах, сотворенных гениями древности. Но нигде, ни в одном городе никогда не видел я, чтобы энтузиаст-бессребреник числился бы в почетных гражданах, чтобы портрет его красовался на Доске почета рядом с Героями Труда и патриотами родного края; и премий, областных или краевых, сколь мне известно, ни один из них так до сих пор и не удостоился.

Странно! Стоит только местному композитору-баянисту написать песню о "родном городе" на мотив новомодного шлягера или даже хотя бы какую-нибудь бравую "таежную-молодежную", как начинают все тому композитору хлопать, на всякие симпозиумы и совещания его посылать, в газетах карточки его печатать, всевозможные премии ему присуждать...

Но вот кто, не жалея сил и здоровья, дни и ночи, иной раз тратя отпуск и выходные дни, ведет поиск, чтобы ныне здравствующие люди знали свое прошлое, тот, кто иной раз даже жизнь кладет "на паперть" своего города, еще нет-нет да нагоняй получит за излишнее любопытство или какую-нибудь спутанную дату и цифирку, кличку чудака приобретет...

Видно, и впрямь судьба летописца - судьба подвижника. Может, в этом его назначение и счастье? Будем думать так. И этим утешим себя и тех симпатичных, чаще всего тихих, умных и самоотверженных людей, которые сидят в архивах, либо копаются в запасниках музеев, в земле и развалинах, извлекая ту самую "золотинку", без которой казна и история Отечества нашего есть неполная.

1974

Самородок

Мальчику было одиннадцать лет. Со старшим братом и с друзьями он пошел по кедровые шишки в лес, упал с кедра, переломил позвоночник. Полная неподвижность, почти никаких надежд на выздоровление.

Несколько лет мужественной борьбы за жизнь, несколько лет, наполненных страданиями и страстным, захватывающим трудом - не вдруг, не сразу верится, но родные Бори Никонова уже нашли, собрали одну тысячу семьсот пятьдесят страниц рукописей покойного юноши.

Журнал "Уральский следопыт", с которым у Бори еще при жизни завязалась дружба, печатает в 1975 году его "Дивногорские этюды". Меня попросили познакомиться с этой рукописью и что-нибудь написать о ней, так как Боря мой земляк, он родом из Новоселовского района Красноярского края.

Загадка таланта! Существует ли она?

Да, существует, еще раз с большей уверенностью подумал я, прочитав рукопись "Дивногорских этюдов".

Ну разве это не загадка: такой же, как многие миллионы мальчишек, из такого же, как тысячи других, русского села, со странным, враз запоминающимся названием - Аспагаш - он с детства видит и боли человеческие, с ранних лет умеет сострадать всему живому и творчеством своим (первый рассказ он написал еще мальчишкой) призывает к этому всех нас, живущих на земле.

В сущности, все произведения Бори Никонова - рассказы, зарисовки, прозаические и стихотворные этюды как раз об этом - человек, помогающий человеку добром, сам становится добрее душой, и ему открывается прекрасный мир, полный добрых людей, яркого солнца, дивной поэзии, чудесной природы. Мне многое понравилось в рукописи покойного юноши, но особенно близки те рассказы, где действуют ребятишки, - умение писать для ребят и о ребятах с любовью есть первый и верный признак даровитости литератора. По-особому как-то тронул меня рассказ "В стороне от дороги" - какое было дано юному автору чувство меры и умение обобщать! Везде, во всех рассказах у него герои поименованы, а тут вдруг просто "мальчик" зовет человека, одна фамилия которого дает почти полное представление о нем - Голов! - спасти умирающую клячу. "Портрет" этой лошади, ее мучительный уход из жизни, поведение двух героев - мальчика и врача Голова, их отношение к смерти лошади написаны так точно, с такой пронзительной болью, что невольно закрадывается мысль: "Да полно! Не может быть, чтоб неопытный автор этакое написал?!"

Из всех "биографических" рассказов Бори Никонова рассказ про умирающую лошадь мне кажется самым "биографичным" - это он сам, обреченный автор, зовет людей на помощь. Все знают, что смерть неизбежна, а он, "мальчик", просит "что-нибудь" сделать и горько, безутешно плачет, когда видит, что смерть не побороть, - такие слезы не бесследны, даже человека с убийственной фамилией - Голов - они проняли и если не повернули в нем все, так хоть что-то "с места стронули...".

Даже по одной книжке, по любовно собранным и отредактированным "Дивногорским этюдам" можно заключить - много отпущено было природой Боре Никонову, или, старинно говоря, Создатель щедро метнул в сибирское село Аспагаш золотых зерен, а они обернулись самородком, да судьба распорядилась так, что самородок лишь блеснул яркой гранью и погас безвозвратно.

Какое-то горькое чувство, не только сожаления, но и вины, остается в душе, когда узнаешь о короткой жизни Бори Никонова. Знаешь, ведаешь всегда так бывает, если прежде времени гибнет талант, но ничего с собой поделать не можешь и еще горше на сердце, если талант этот, как мартовский сибирский первоцвет, - только-только сереньким мохнатым птенцом вылез на солнцепек из камней, чуть приоткрыл чистые кремовые губы, и вдруг случайным порывом ветра его сломило, унесло, не давши ему ни расцвесть, ни рассеять семя по земле.

Дивногорск, где жил с девяти лет и кончил свой короткий путь Боря Никонов, всего в получасе езды от моего родного села Овсянки. Я бывал в те годы, когда Боря уже лежал прикованный к постели, в Сибири, в родном селе и на строительстве Красноярской ГЭС, но ничего не знал о том, что в соседстве живет и мужественно работает больной человек, а ведь так много приходится читать бесполезного, так часто приходится заниматься пустыми и неблагодарными людьми! Думается, удалось бы поддержать, ободрить даровитого юношу, да что теперь об этом толковать?! Просто постараться надо любовно сберечь то, что оставил нам этот многострадальный и мятежный сибиряк.

Загадка таланта. И загадка смерти... Почему эти слова, понятия эти встали вдруг в моих мыслях в один ряд - они же несовместимы, как "гений и злодейство"?! Да, вот почему? Сотни раз и я, и мои деревенские корешки бывали в лесу, лазали по деревам, хаживали по тем самым местам, где подстерегала Борю беда. Однажды я тоже сверзился там с кедра, но угодил в грязную болотину. Почему же ловкий деревенский парнишка, который мог "на ходу подметки рвать", ничего и никого не боялся, был верным другом, любимым сыном и, быть может, надеждой нашей литературы, подвергся такой напасти, таким испытаниям и такой мучительной смерти?..

Тут же выстраиваются в памяти нелепые смерти на войне и невероятные спасения от них, и все кажется - вот был бы в лесу тогда вместе с ними, с шишкарями-мальчишками, глядишь, и уберег бы Борю от беды...

Почти каждое лето я езжу на родину, в Сибирь, - тянут туда не только воспоминания детства, но и печальная память о тех, кто был и жил когда-то с тобою и кого не стало на земле. К этой неизбежной и вечной печали добавилась еще одна капля, и теперь, глядя на горы и перевалы, темнеющие в поднебесье, буду знать - там, за стыком двух рек - Маны и Енисея, за старым Знаменским скитом, за Дивными горами, одетыми в густую шубу кедрачей, витает дух юного поэта, в каждом листке, веточке, хвоинке и цветке присутствует его светлый взор, его доброе и теплое дыхание, и, согретая этим дыханием, светлой его памятью и словом, родная моя природа, край мой отзовутся в душе людей и тихой печалью, и благодарной любовью.

1975

Твои тихие руки

О стихах Михаила Воронецкого

Стихи Михаила Кузькина-Воронецкого обладают одним завидным качеством их хочется читать вслух:

...Здесь между темных плит,

Вросших в июльский зной,

Под рыжим курганом спит

Предок раскосый мой...

Страшен он был и зол.

Жизнь нелегко сберечь.

В сердце ему вошел

По рукоятку меч...

Качался с водой стакан.

Дед, как всегда, суров.

Река звалась Аба-кан,

Что значит - медвежья кровь...

Внутренняя мускульная сила стиха как бы рвется из молчаливой оболочки наружу, и хочется не просто читать эти стихи где-нибудь в зале, вселюдно, нет, их охота выкрикнуть где-то в степи, на дороге, "для самого себя", выкрикнуть просто так, от избытка чувств и сил.

Стоит он на кургане - всадник

Среди камней, среди травы.

Он весь степняк - в посадке ладной,

В наклоне черной головы...

Нагайку ветер чуть качает...

Стоит, забыв жену, жилье,

Влюбленный в вечное молчанье

И в одиночество свое.

Но это, так сказать, "голос крови", это тот самый потомок-степняк поет и чеканит стих под стук конских копыт, что "лицом на него похож, здесь через сотни лет, в юрте из конских кож я родился - поэт". Но ведь в крови сибиряков, даже если они и "раскосы", напутано всякого, по бабке Воронецкий восходит к ссыльным полякам, и не могла же гордая кровь бунтовщика "не схлестнуться" с вольной и дикой кровью хакаса. Что же высеклось из столкновения? Чем отозвалось в душе поэта эхо давних степных кочевий и гонимых за непокорность, страдающих "гордецов" поляков?

Вам стала пухом мать - земля сырая?

Родились, жили, канули - и пусть!..

Но отчего ж, в веках не умирая,

Связала нас нерасторжимо грусть?..

...Лежат, а как страдали? Как любили?

Какою страстью нам они близки?

И были ли они? Конечно, были.

Иначе этой не было б тоски.

И вот оно, как следствие этой вечной нашей тоски о прошлом, о том, кто был до нас, до боли острое, кинжалом вонзающееся в сердце ощущение Родины.

Я жадно пил. Дрожали руки.

Котлы, шипевшие в огне,

Гортанные глухие звуки

Казались сказочными мне.

В ночной степи кричали звери.

Меж юрт, черневших у ручья,

Шагал я, веря и не веря,

Что это Родина моя.

Не всем, далеко не всем современным поэтам удается преодолеть эту тоску по своей малой родине, и бывает, так они и остаются навсегда на той маленькой полянке детства, которую топтали когда-то босыми детскими ногами. Уж ни цветка, ни травинки на той полянке нет, а они все ходят и ходят по кругу, все топчут и топчут ее, вымучивая строки про дым над отчими трубами, про березки и тополя под родным окошком, про бабку и дедку и про девушку, что пела за околицей, звала, да куда-то потом делась безвозвратно, скорей всего уехала в город, на фабрику, и вышла замуж за нелюбимого...

Рост, мужание поэта заключается и в горестном ощущении утраты детства, юности, первой любви и той же малой родины. Но ощущения, чувства поэта, входящего в пору зрелости, не могут переходить в нытье, с возрастом они густеют в крови, ток их делается нетороплив, удары сердца реже, но весомей, взгляд становится пристальным, слезы умиления не должны застить его - жизнь поработала на "поэтической пашне".

И вот, когда, забыв про суету,

Гляжу на лес - он рядом ли, далек ли,

Как будто бы разглядываю облик,

В котором вечность скоро обрету.

...И потому целую рыжий склон

Земли с дубами перед увяданьем,

Что сохранят до будущих времен

Загадку моего существованья.

Если бы мой земляк Михаил Кузькин-Воронецкий написал только о загадке своего существования, наверное, и тем бы уже запал в память, но ему дано было расширить рамки, а точнее, разорвать путы риторики, ставшей в современной поэзии не просто однообразной, но порой и надоедной. Но...

Как ни досадуй, как ни бейся,

А путь к себе - всегда сначала:

Всегда опять с последним рейсом

Плыть от обжитого причала.

И плыть не куда-нибудь, а в самую счастливую пору, пору поздней любви, и, достигнув берега, на котором редко высаживаются нынешние поэты, с изумлением и восторгом припоздалым, самому еще непонятным, воскликнуть:

Когда ты тих, как лес осенний,

Когда виски уже седые,

Вдруг открываешь в изумленьи:

Любить - ведь это все впервые...

Впервые где-то за Окою,

В избушке возле переправы,

Вдруг, заболев глухой тоскою,

Упасть в желтеющие травы...

Пересказывать любовную лирику - дело неблагодарное и бессмысленное. Ее надо читать наедине с собою, чтоб вместе с поэтом пережить и радости, и муки, какие она, эта самая любовь, несет с собою, и в себе особенно, когда "виски уже седые".

Читая Михаила Кузькина-Воронецкого, невольно сам начинаешь чувствовать подъем и просветление в душе, словно и тебя коснулась частица света, озарившего чью-то жизнь на склоне лет. И хотя у этого чувства нет юношеской восторженности, беззаботности, а больше тревоги, смятения - все равно невольная волна ответной благодарности, доброй зависти и жажды прекрасного возникает в сердце.

А какое самоуглубление произошло в самом поэте и как от этого окреп голос его! Нет вроде бы ни "степной экзотики", ни внешних примет пейзажа, а читаешь - и захватывает дыхание, ибо сам сопереживаешь, сам ты уже вовлечен в стихию чувств, движение головокружительного, счастливого и тревожного полета:

Разбудила меня тишина.

Память с явью напрасно боролась:

Еще долго ловила она

Твой из сна исчезающий голос.

Я сентябрьскую вижу твою

Прядь волос у лица... Неужели

Не приснилось тебе, что стою

У твоей безмятежной постели?

Как, впадая опять в забытье,

Целовал твои тихие руки,

Как нашептывал имя твое,

Просветленное болью разлуки?

Ах, какой очистительный сон!

Что за странная тайна сокрыта

В том, что был я на миг вознесен

Над пределами нашего быта?

Словно вышел, минуя года,

Я во времени том недалеком,

Где не будет у нас никогда

Ни размолвок, ни ссор, ни упреков...

Ловлю себя на желании читать и читать кому-нибудь стихи Михаила Кузькина-Воронецкого, делиться радостью их открытия, цитировать их, повторять. Но стихи все-таки лучше всего читать самому, то есть каждому, кто любит истинную поэзию, делать это по отдельности.

1970

Звуки родины

О книге Сергея Заплавного "Мария"

Мы плыли тихой осенью, по тихой воде, на тихоходном пароходе и радовались всему, что видели, и наговорились уже вдосталь и замолкли, каждый уйдя в себя, в свои мысли, в знобящую радость, всегда занимающуюся в душе человека, когда он после долгой разлуки видит "родные русские места", прикасается к ним сердцем.

Все вокруг тогда начинает ровно бы звучать чистым, вечным звуком, светиться тем незамутненным светом, который озаряет нас в минуты редких свиданий с чем-то исконно родным.

Мы - это небольшая группа писателей, совершающих творческую поездку по Томской области в честь пятидесятилетия Советского государства. Все из разных концов страны, все люди разные и в то же время единые, уставшие от городского шума, суеты и радующиеся и Оби-реке, и осеннему лесу, и рыжеющим лугам, и птичьему граю, и духу захватывающей сибирской обширности, как чуду первосотворения.

Томичи в первый день пути все нам рассказывали да показывали, но и они выдохлись, неотрывно смотрели на родные просторы, и можно было угадать по лицам, что не могут они всего, что у них на душе, нам высказать, и не сумеем мы, сколь нам ни говори, полюбить эту землю так истово, как любят ее они.

И долго так вот плыли мы, и нас не тяготило, не разъединяло молчание, а, наоборот, сближало, рождало понимание и уважение друг к другу, переходящее в растроганность и родство.

- Вот неподалеку отсюда, в такой же деревне на Усть-Бакгаре, я работал учителем, - тихо сказал Сережа Заплавный - томский поэт - и облокотился на борт парохода.

Все впились глазами в деревушку, рассыпавшуюся по подмытому яру, издырявленному ласточками, отыскивая в ней какую-либо особенность и значимость, поскольку в такой же работал не кто-нибудь, а наш товарищ по поездке, человек поэтический, давно уже здешний.

Деревня была как деревня - с огородами, выходящими к реке, банями на огородах, с кучами сохлого навоза возле стаек и густой крапивой на межах, с жухлыми кустами картошки, наполовину уже выкопанной, с редкими тополями возле насупленных, суровых ликом сибирских изб.

Она ушла за поворот, та деревушка, и запомнилась лишь амбарная стальная полоска на сельском магазине, и выцветший плакат на тесовом лбу клуба, стоящего середь улицы. Но голос Сережи, слова его: "Вот в такой же деревне я работал" - что-то тронули во мне, где-то я уже слышал строй этих слов и тон, которым они произносились.

И тут я вспомнил - в "Марейке", первой прозаической вещи Заплавного. Вся эта немудрящая по замыслу повесть звучит за душу берущей музыкой народного слова, рожденного людьми, искони населяющими эту землю. "Мелодия" первой повести поэта, пробующего себя в прозе, которую только люди, не представляющие совершенно нашего труда, считают делом более легким, чем сочинение стихов, меня и покорила. И за нее, за мелодию, надеюсь, простит читатель автору и налет литературщины, и незаконченность, схематичность образов некоторых второстепенных героев. Но своей уважительностью и добротой к людям, ладно и напевно говорящим, ладно и уверенно живущим на богатой, да не вдруг открывающейся земле, автор добивается доверия к себе и к своей первой повести - а это уже немало! Впрочем, под стать земле родной и люди, описанные Заплавным. Они тоже не держат грудь "нараспашку", как говорят в Сибири. С ними надо поработать, показать себя в деле, не один пуд соли

съесть, и когда они тебя рассмотрят и взвесят, может быть, и сами тебе откроются...

Сереже Заплавному они "открылись", и в этой вот обычной сибирской деревушке, в обычных людях сумел он распознать и красоту, и душевное богатство, а главное - услышать мелодию их языка, уловить "звук", как называл кудесник российской словесности Иван Бунин одну из главнейших особенностей русской прозы.

Как ни крути, как ни теоретизируй, защищая "немую" прозу и стихи, прежде все-таки был звук: свист ветра и пение птиц, шум реки и небесные громы, шорох листьев и скрип дерев, и из этих звуков человек однажды сотворил слово. Какое оно было - никто не знает, но каждый, кто берется за перо и набирается мужества словом поведать миру о том, что он любит, что тревожит его и печалит, должен сначала услышать музыку в себе, опьянеть от нее до того, что про себя уж "петь" невозможно, и тогда, только тогда, не разрывая мелодию постными рассуждениями, конъюнктурными подтасовками и соображениями материального порядка, запеть для людей без фальшивого крика, без истеричного надрыва, а так, как звучит слово, исторгнутое жизнью и озвученное человеческим сердцем.

Это трудно, очень трудно. Многие трудности в работе со словом молодой писатель успешно преодолел в своей милой "Марейке", но еще больше предстоит ему преодолеть и осилить. Ведь первая вещь часто "выпевается" как-то сама собой, и наивность ее воспринимается, как дело, тоже само собой разумеющееся, как наивность дитяти, с которого "какой еще спрос?".

Я думаю, что читатель расценит мои слова о первой повести молодого писателя как щедрый аванс, выданный не в качестве "подъемных", а уже заработанный трудом, и трудом упорным. Но в следующий раз я не смогу назвать Заплавного Сережей. Надеюсь, и читатели, и издатели будут с него спрашивать тоже как со взрослого и зрелого работника литературы - "Марейка" обнадеживает. Так, с надеждой в доброе будущее молодого прозаика я и закончу свое ему напутствие, а остальное все, как и быть положено, в его искренней прозе - и биография, и душа.

1978

Чувство звука и слова

О стихах Романа Солнцева

Мы привыкли к расхожим понятиям, они становятся для нас не только обыденными, но и удобными. Вот привыкли говорить: "Сначала было слово". Однако слово-то происходит из звуков, стало быть, сперва был звук, и звук тот растворен в природе, и никому неподвластно услышать его, перенять у природы и передать людям, кроме поэта и музыканта. А может быть, прежде звука было чувство? Может быть, всем, что есть вокруг нас и в нас, и прежде всего мыслью, движет чувство. Оно-то и есть первородство звука и самого слова и, стало быть, вытекающего из них вечно святого и светлого истока поэзии, который, набирая мощи, полнозвучия, а в наше время широты и шума, вот уже много веков мчится, не иссякая, будоража человеческое сердце, наполняя его восторгом и печалью, подымая бурю страстей и услаждая тихой музыкой.

Вечна загадка поэта и вечно наше желание отгадать ее, пробиться сквозь какую-то невидимую преграду или пелену и постичь то, что за строкой, то есть душу поэта, но когда это произойдет, поэзия утратит смысл и "секрет", стихи станет возможно изготавливать каждому мало-мальски грамотному человеку, как сейчас учащиеся средней школы на станции юных техников с помощью простых инструментов, из обыкновенных материалов могут выточить и собрать электромузыкальный прибор, радиоприемник, и даже ракету, и любые вещи, так недавно еще поражавшие воображение и повергавшие нас в изумление своей непонятностью и недоступностью.

Верую, с поэзией этого не произойдет, во всяком разе не произойдет до тех пор, пока не отформуется человеческая душа, не сделается стандартной, подобно кирпичу, хотя поползновения, и явные, к этому имеются, и есть люди, стремящиеся к тому, чтобы все было одинаково - дома, леса, дороги, одежда и человеческая мысль.

Поэзия всегда восставала против бездушия и стандарта, она всегда стремилась возвысить человека, и в этом ее непреходящее величие и, воспользуюсь бытовым

словом, постоянная польза для всех нас, а привораживать человека, околдовывать его словом, точно старинным складным наговором, это ее милая игра с уставшим человеком, которая, с букваря начавшись, открыв глаза ребенку на мир, постепенно втягивает его в серьезный разговор, становится строгим и взыскательным собеседником. Как это необходимо в наш суетный век, когда все "секретное" вроде бы рассекречено, когда после "прелестей" общежития человека все чаще и чаще тянет побыть наедине с собой, предаться созерцанию и осмыслению своей, а значит, и всей нашей жизни.

Женщина плачет в вагонном окне

или смеется - не видно в вагоне.

Поезд ушел. И осталось во мне

это смешение счастья и горя...

Чем увлекают меня, читателя, эти бесхитростные и совсем "простые" строки? Отчего так защемило мое сердце при звуке их? И сам сделался какой-то незащищенный, открытый сладкой печали. Почему повторяются и повторяются во мне эти строки, хотя, может быть, я не запомнил их наизусть?

Кабы я знал! Но кабы я знал, то, стало быть, и написал бы их сам, а не Роман Солнцев, за работой которого я давно и пристально слежу.

Но и сам Роман Солнцев не мог раньше написать такого. Раньше, вплоть до сборника "Малиновая рубаха", он мог позволить себе напечатать толстый сборник, не особо разбираясь, что надо печатать, а что оставить в столе или вовсе выбросить. Характерная особенность - от книги к книге Солнцев становится сдержанней, а сами книжки тоньше.

Поэт "повзрослел" - и вот этот секрет мне, как читателю, сделался доступен, поэт приостановил свой юношеский восторженный бег, "дыхание" его сделалось глубже, взгляд пристальней, к нему приходит взрослая и мудрая печаль, из которой, словно из бесконечной нервущейся нити, выткалось полотно нашей дивной и великой русской поэзии. Радостной, восторженной поэзии Россия дала мало. Не из чего было черпать - весна, дорога, любовь? Но весна - так скоротечна, дорога - так коротка, любовь - преходяща, природа же наша бывает часто в грустной, нежели веселой поре. Недаром почти все русские литераторы и музыканты утверждали, что осенняя пора увядания рождала и рождает неповторимость чувств и погружает в грусть, вызывая думы плавные, глубокие, о вечности и мироздании...

Нас всех одолевает сон.

Или томит любви бесцелье,

Но, кто-то мыслью потрясен,

Сидит сейчас в ночной постели.

Он курит или спичку жжет

И смотрит в черное окошко.

Там по стеклу звезда ползет,

А может, снег - сырая крошка.

О чем он думает, когда

Другие спят, раскинув руки?

Какие видит он года,

Какие новые науки?

Злодейства ль тайные врагов

Мрачат его чело крутое?

Что ж он не спит? Уж пять часов.

Ведь быть не может, чтоб пустое!

Хочу я думать, что во тьме,

Раскуривая сигарету,

Он держит вечное в уме,

Иначе в этом смысла нету...

Если поэт начинает говорить о вещах вечных - это не всегда от дерзости, чаще от наступившей зрелости, житейской заряженности и душевного груза, а то и перегрузок. И если он часть своей тяжести перекладывает на читателя, это не значит, что у него есть стремление облегчить себя, нагрузить нас своими страданиями, чтоб не страдать самому.

Нет, не для того горит и мучается сердце поэта! Оно всегда бескорыстно, всегда устремлено к свету разума и добра, и в непосильной работе оно часто сгорает или разрывается, отдавая все, что в нем есть, до последней горячей капли крови, людям и искусству.

Поэзия всегда стремилась открыть в мире прекрасное, и своими муками доказывали поэты, как долог и тяжек путь к красоте и постижению смысла жизни.

Поклонимся же низко за эту благородную работу стихотворцу и пожелаем ему того, чего желали странники Востока друг другу: "Торопись обрадовать добрым словом встречного, может быть, в жизни не придется больше повстречаться".

1979

Песня добра и света

В старину бытовало слово "сочинитель", которое со временем заменилось несколько нейтральным словом "писатель", быть может, потому, что развелось так много пишущих что угодно, когда угодно и о чем угодно, а вот сочинителей в литературе, в особенности в поэзии, стало совсем мало. Людей же, слагающих стихи, и вовсе единицы.

К этим немногим относится Ольга Фокина.

Однажды, когда дети Ольги были маленькими и не оставляли времени для работы, но стихи ее все равно появлялись в периодике, я спросил, когда же она пишет? "А вот когда укладываю детей или хожу куда - и складываю стихи. Потом записываю. Да вот записывать-то некогда... уж дождусь лета, деревни..."

Она почти не знает слова "черновик", слагая стихи и отделывая их начисто в голове. Мне довелось встречать еще одного поэта, который на обычный вопрос, как он пишет стихи, отвечал: "Очень просто. Беру лист бумаги, ставлю сверху "Н. Рубцов"" и записываю их столбиком".

Если о пишущих стихи, о их напряженной работе можно составить представление по рукописям, то никогда и никто не узнает, какой процесс происходит внутри поэта, слагающего стихи "про себя". По складу и ладу строк кажется, что стихи родились сами собой, как песня у веселой птицы, и лишь по ранней седине, усталости и печальному облику поэта остается заключить: не так-то уж все легко, как кажется.

Однако по облику Ольги Фокиной ничего не угадаешь. Когда ее ни встретишь, она деловито-улыбчива, скромна, к людям приветлива, вечно занята хлопотами, детьми и на привычный вопрос: "Как живешь?" - нисколько не рисуясь, не играя в бодрячество, отвечает: "Хорошо!"

Все у нее хорошо, все ладно, и глаза светятся, как и прежде, молодо, ясно, душевным здоровьем веет от нее. Помню, когда учился на Высших литературных курсах и жил в общежитии Литинститута, видел Ольгу не раз, круглолицую,

улыбчивую, с челочкой на лбу, в розовой шелковой кофточке, которая, видимо, и была ее единственным праздничным нарядом, вывезенным из деревни, где она уже поработала медиком, да сундуков не накопила, зато так и пыхала румяным детством, резвой юностью, и стихи той поры были очень похожи на компанейскую девушку, к себе строгую и в то же время общительную, которой последним куском поделиться, кого-то пригреть, кому-то помочь никакая не тягость, а душевная необходимость.

Я встречал читателей, которые, приняв естество и песенность ранних стихов Ольги Фокиной за основу ее поэзии, в этом мнении удобно и утвердились, а между тем и в ранних стихах за непринужденностью строк, за их сказовым и песенным ладом уже и тогда проглядывалась, точнее, прослушивалась трагедия недавней войны и вторым, пока еще едва слышным фоном, - вечная песнь женщины, которая со временем примет облик женщины русской, женщины-матери, каковую поэтесса до сих пор не перестает звать нежно и неотстраненно - мамой. А матери ее, Клавдии Андреевне, уже за семьдесят, но старая русская крестьянка все еще трудится, хлопочет по дому, занимается невидимыми миру делами да ждет каждой весной в родную деревню Артемьевскую доченьку с внуками.

Ольга Фокина много, удивительно много, плодотворно и цельно работает. Стихи Фокиной для меня, давнего постоянного ее читателя, звучат как единая песня о Родине, большой и малой, о маме, о деревне, о себе, о не таком уж далеком прошлом, о своем месте в нынешней жизни. Новации, модные течения и ветры проносятся над ее головой, оставляя строку Фокиной незахватанной, погоням и за сиюминутным успехом не задерганной.

Тонкой, светлой струйкой начала вплетаться в эту песнь детская мелодия - подрастают дети, и мать не может не думать, не тревожиться об их будущем, ибо они, дети ее, - зерна в том колоске жизни, который зреет на той же земле, где росла когда-то их мать, и гнется, шелестит тот колосок на всех, таких неспокойных, мирских ветрах.

Вечная, великая песнь матери, мелодия которой вселяется в сердце человека с первыми звуками жизни, у поэта не кончается с остатним его вздохом, продолжаясь в других людях, в других благородных сердцах. Усложняется мир поэта, восприимчивей становится душа его, и, не теряя ясности, простоты, стих Фокиной становится многосложным, мелодия его пространственней, мысль и чувства углубленней - поэтом творится симфония, начатая как бы голосом непритязательной, деревенской дудочки, все больше и больше включающая в себя оркестровых голосов, - сложнее партитура, сложнее мысль, однако главная тема симфонии - тема судьбы народной, думы о ее нелегком прошлом - так и остается главной, хотя не утрачена, наоборот, еще более прозрачной сделалась мелодия любви к Родине, доверительней ее звучание и все так же открыто добру и состраданию сердце творца.

Ольга Фокина - дитя своего времени. Она и ее поэзия возможны только в мирные дни. Сам характер поэта предопределяет назначение его слова, а оно у Фокиной без гроз, без выкрутасов, загибов и загадочных страстей, раздирающих грудь, у нынешних же поэтов - чаще всего модную рубаху на молодецкой груди.

Формализм всегда и возникал в силу разных изгибов в жизни, добавляя мути и в без того мутное течение бытия. Не случайно думается: пышный расцвет всякого рода течений в поэзии, уводящих человека от естества и реальности, произошел, допустим, в годы нэпа. В годину тяжких испытаний, в годы войны, например, когда людям сделалось не до шуток, надо было выжить или умереть, требовалось идти прямо, грудью, только грудью на врага, литература наша, в том числе и поэзия, лишена была какого-либо позерства, салонности, жеманства. Суровая с виду, мужественная по содержанию, открытая, прямодушная, она отвечала насущным потребностям времени, шла в ногу со своим народом, она сражалась.

В первые послевоенные годы, на которые пало детство Ольги Фокиной, народу нашему было тоже не до шуток, испытания не менее тяжкие ждали его, в особенности обезмужичевшую, надорванную войной деревню.

Большую семью поднимала мать Ольги Фокиной и вырастила всех детей, никого не потеряла. Как вырастила, какого труда, порой непосильного, стоило это матери - можно с совершенной доподлинностью узнать из стихов поэтессы, только за судьбой Фокиной Клавдии Андреевны вы почувствуете и узнаете всех русских матерей, а за жизнью и деяниями родной северной деревни увидите судьбу всей русской послевоенной деревни и непременно - это уж неизменное достоинство русской

поэзии, прекрасная традиция ее - благородство людей деревни, величие их труда.

Воспевая будни села, его вечный труд, непозлащенный быт, Ольга Фокина поэтизирует все это не натужным усилием голоса, не набором внешних атрибутов или упором на кондовость и неповторимость Севера - поэтизация проистекает из любящего сердца, удесятеренно чувствующего человеческую боль, всегда настроенного острием против зла.

Вот написал я все это и почувствовал: в какую же привычную и удобную схему вогнал я самобытную поэтессу! А поэт, в особенности поэт самобытный, всегда неповторим, и ни в какие он схемы и рамки не вмещается, как бы нам того ни хотелось. Конечно, с привычным и жить привычно, спокойно, но поэзия настоящая, существует для того, чтоб "глаголом жечь сердца людей", волновать их, тревожить, возбуждать потребность мыслить и совершенствоваться. Да и сама Ольга Фокина, не задаваясь, в общем-то, такой целью, всем ходом своей работы, движением мужающей мысли рушит привычные схемы. Вот одно из ее последних, привычных, "фокинских" стихотворений о том, как бабушка ее знавала:

...Не с какой-то ерунды

В человеке рак заводится,

От сонной от воды!

И что же противопоставляла бабушка страшной той болезни? Какую "науку" преподавала внучке?

По ночам не бегай пить,

Ну а если уж приспичит

Воду надо разбудить!

Ковшиком о край кадушки

Брякони, не поленись...

И дальше простой, однако "надежный" наговор и приговор:

А поди ж ты! Так, спроста,

Бабушка с ее устоями

Жила годов до ста...

К слову, умение владеть юмором, да еще естественно, да еще к тому ж в поэзии, - дар редкий.

Но что это? "Поэзия проблем не поднимает. Прогулочный себе усвоив шаг, она, увы, не только не ломает, но даже и не скрещивает шпаг..."

Это тоже Ольга Фокина! Пока еще малопривычная, но многообещающая, ибо находится она в самом расцвете поэтических сил, и все так же открыт, светел, правдив и чист ее взгляд, все так же нараспашку открыто сердце добру, все та же в ней, скрытая от людей, стойкость в борьбе с житейскими невзгодами, все так же благороден и патриотичен ее стих, высок голос.

Голос женщины, матери, гражданина, поэта!

1977

Суд совести

О повести Альберта Лиханова "Суд совести"

Повесть Альберта Лиханова "Высшая мера" читается без отрыва, но очень нелегко читается, и будучи "короткой" повестью, она вместила в себя целый жизненный роман. Драматичный. Современный.

Признаться, я начинал читать повесть настороженно и даже с некоторым недоверием.

Повествование ведется от первого лица. Это не ново. И даже как бы модно. Но вот лицо-то непривычное - пожилая женщина рассказывает о себе и о своей небольшой семье в момент ее развала, и даже не развала - кончины, краха.

Быть может, обаяние этой повести состоит в том, что она ведется "по законам" бесхитростного, дорожного рассказа о себе, о судьбе своей, о своих близких. Были, были такие времена, когда проснешься среди ночи в качающемся, мерно постукивающем вагоне или в пароходе, пошлепывающем плицами по воде, где-то чуть теплится свет, в полутьме загораются от затяжки и гаснут неторопливые цигарки, и тихий чей-то голос, со вздохами, перерывами, ведет, ведет нехитрую историю по извилистым жизненным дорогам.

Как много счастливых повторений тех дорожных историй оказалось в русской литературе.

Но меняются времена. Мы уже чаще летаем, если же ездим, то не в общих, в купейных вагонах, плаваем - не на палубе, а в каютах. Какие уж тут "беседы"? Тут продолжение одиночества, так неожиданно захватившего нас в толпе городских людей, одиночества, кажущегося нам удобным, спасительным.

До поры, до времени.

Вот она, славная, добрая, самоотверженная женщина - Софья Сергеевна, обыкновенная работница обыкновенной студенческой библиотеки, едет в двухместном вагонном купе одна, оглушает себя снотворным, чтобы хоть на минуты забыться и забыть, да плохо у нее это получается, и побеседовать возможно только с одним человеком - с собою. Пробует милая вагонная проводница "завязать разговор", развеять явно чем-то расстроенную и больную пассажирку, но даже и этот привычный, "бабий", контакт не налаживается...

Да и как ему наладиться? Сердце надорвано. Жизнь сломлена. И если бы одна ее жизнь! У всех ее близких и у самой Софьи Сергеевны отныне все пойдет по-другому, не лучшему пути.

Жили-были две сестры: Софья и Женечка. В трудное время, в войну, разом осиротели. И вот не когда-нибудь, в самый тяжкий период войны Женечка влюбилась. Ну, конечно же, по всем законам "жестокой" вагонной истории, влюбилась в героя, в настоящего Героя Советского Союза. Да кабы одна влюбилась - и сестра ее, Софья-то, тоже "тайно страдала" по герою, хотя, как мне кажется, это уже лишковато даже для истории, построенной по старым добрым законам увлекательного дорожного повествования. Не избежал автор и других излишеств, увлекся, видно, не очень строг и взыскателен был местами к себе и к своим героям. Бывает это, и не с одним Лихановым, когда материал одолевает автора и правит им.

Одним словом, "роковая" любовь привела к тому, что у Женечки родился сын Саша, потом и дочь Аля. Но Аля родилась уже после смерти отца, погибшего не в бою, а от бандитского ножа.

И вот Софа после смерти сестры Женечки забирает малышей, уезжает в провинциальный город и там "ростит" "сына и дочь", которая от родовой травмы остается навсегда больной, искалеченной, и которая, кстати, не произнеся ни одного слова, не сделав ни единого шага, тем не менее наполняет повесть таким добрым теплом, высветляет таким ясным светом, что казалось бы к безысходной истории ее и семьи Софьи Сергеевны относишься не только с сочувствием, но и с долей любви и надежды.

Итак, маленький домашний мир, полный забот о хлебе насущном, каждодневная и любимая работа в очень небольшом и славном коллективе, веселый народ студенты, среди которых оказывается и Саша, несколько вялый по жизни парень, однако с очень мастеровыми и ловкими руками, что совсем немудрено - вырос-то среди бабья, и надо было рано делать по дому мужскую работу. Они встречаются нынче, эти малолетние "мужики", берущие на себя мужские заботы, помогающие матерям-одиночкам исполнять ту работу, которую не хотят делать иные "папы", толпящиеся возле какой-нибудь заплеванной пивнушки или пьяно гогочущие по чужим подъездам.

Будучи студентом, Саша повстречал студентку Ирину и женился на ней. Ну что ж, в общем-то типичная история. Только в квартирке сделалось еще теснее и материально еще труднее - Саша, окончив институт на тройки, остался учителем в школе, тоже средненьким, а вот его жена - отличница - осталась вовсе без работы - она "испанистка", в "испанцах" же этот провинциальный город не нуждается. Есть два-три преподавателя, и единственный вариант выгнать одну из испанисток и взять Ирину, тем более что она "молода, красива, а ведь молодость - бесспорное преимущество перед старостью".

Свекровка Софья Сергеевна вроде бы и в шутку, передала невестке эти слова проректора по учебной части, но невестка-то отнеслась к ним всерьез, сама решила устраивать свою судьбу и устроила! Попробовала один, другой костюм - и вот достигла своего, определилась секретаршей к директору огромного завода.

Директор так и останется ее, Ирины, восторженным воздыхателем, но все, что надо и возможно от него получить, Ирина получит, даже путь в столицу ей, а следовательно, и муженьку ее с "золотыми руками" откроется.

Там захочется супругам маленько обзавестись, пожить "для себя", да где граница этого "маленько", кто ее указал? Нет такой границы, что со всею очевидностью доказывает нам окружающая жизнь, и наша повседневная действительность подает беспрерывные примеры тому, как рушатся души, судьбы, семьи и под напором алчности, всевозрастающих "потребностей", страсти к накопительству, или "вещизму", как это ныне называется.

В другом месте, в другой семье это было бы "в самый раз", радостью б и счастьем, может, почиталось бы накопительство, сделалось бы смыслом жизни, но куда же деть влияние старой щепетильной библиотекарши, всю жизнь экономившей рублевки и копейки и при первой же возможности купившей новое синее платье "благодетельнице Марии", которое та, впрочем, лишь примерив, передарила Ирине. "Справились" с ее моралью и влиянием невестка и сын трудно, не до конца, но справились, разошлись благополучно или, как нынче принято говорить, "разбежались" выгодно для себя: Саша пристроился возле денежной вдовы, Ирина, при ее полете, хватанула и того выше - вышла за дипломата.

"Тебе трудно, понимаю, такие новости, - говорит матери сын и говорит-то обиженным голосом. - Но я, кажется, впервые счастлив. Меня любят. Я люблю тоже..."

Вот такая мораль: "Я - счастлив", "Меня любят", "Я, я, я, мое". Ну, а где же мать? Где несчастная сестра, к которой даже суровая и сдержанная Ирина относилась с нежностью и состраданием. Где, наконец, сын Игорь, которого родители "вырвали" у строптивой, непокладистой бабушки, избавились от нее самой и от ее надоедливого досмотра...

А сын Игорек, подросток еще, учащийся школы, живет, оказывается, один в хорошо обставленной квартире, с холодильником, набитым едой "по крайней мере на семью из трех человек". Мама приезжает убираться в квартире сына, папа навещает его, интересуется учебой, отвлекает и развлекает...

Превосходно написана сцена "торжества", во время которой не покидает читателя чувство нарастающей тревоги и протеста. Но, как мыслит героиня повести, "не так-то просто стереть доброту", да и не купить ее ни за какие деньги, ни за какие вещи - самое бескорыстное и самое бесценное, что было и есть на свете, - это она, доброта, и сколько бы ни пытались исказить, обезобразить ее смысл и суть - ничего не выйдет: добро со злом несовместимо, как "гений и злодейство..."

Игорек и десять классов не закончит, и до другого дело не дойдет - он разобьется на том самом мотоцикле "Ява", который ему преподнесли родители в честь окончания девятого класса. Его незрелую душу разорвут надвое - с одной стороны, изверченная во всем, в каждом шаге и поступке ложная жизнь родителей, и с другой - такая простая, но праведная жизнь Софьи Сергеевны, которая и бабкой-то ему не была - он узнал об этом, догадался "узнать", а вот родители, те, как говорится, так и "не доспели". Она не бросила больную девочку и маленького мальчика. "Чего в этом особенного? - ворчит бабка в ответ на вопрос внука. - Без них мне было бы в тысячу раз хуже". Хуже ли? Могла ведь она выйти замуж, нарожать своих детей, испытать полноценное чувство материнства...

А долг? А исполнение простых человеческих обязанностей? "И мыслимо ли все рассчитать?.." Мыслимо ли добиться счастья, думая лишь о себе?

Нет, немыслимо! - отвечает всем своим строем, тоном и словом повесть Альберта Лиханова: "Просчет невольный да простится, расчет лукавый никогда!" - сказал великий наш современник и поэт.

И вот они, двое, провожают бабку домой - все трое чужие друг другу, разъединенные смертью любимого, ни в чем не повинного человека, бегут за вагоном, приговорившие сами себя к "высшей мере" - к вечной вине и муке, и спрашивают взглядом: "Как теперь жить?"

Нелегкий, своевременный, назревший для героев книги вопрос. Тревожная повесть. Серьезная литература.

1982

Тоска по слову

О стихах Марины Саввиных

"Откуда ты, тоска по слову?

Петуший крик, звериный зык...

Жизнь посвятить меня готова

В свой непридуманный язык..."

Поэт обречен Богом и судьбою на одиночество при всем его устремлении к толпе, разгулу, бродяжничеству, шуму, показной веселости и игре. Но под кожею-то такое ли таится и свершается, что всегда надо набраться храбрости, чтобы коснуться нутра его, и как страшно заглянуть в бездну души творца. А каково-то жить с такой душой, носить ее, всегда тревожно и больно звучащую?

Читая стихи Марины Саввиных, я все время думал о жутком, роковом одиночестве ее тезки - Марины Цветаевой. Где-то, в чем-то, отнюдь не во внешнем, а в глубинном, самом трагичном ощущении судьбы, жизни, себя, стихи нашей землячки звуком, болью ли соприкасаются или, точнее и книжно говоря, гармонируют с поэзией Великой русской поэтессы и, быть может, в чем-то сущем и тайном продолжают ее горькое, небесное слово, хотя до цветаевского стона и крика из человеческой "тайги" о спасении, дело еще не дошло.

Я всегда трепетно и с какой-то суеверной боязнью отношусь к женской поэзии, к настоящей женской поэзии, но не к той, которая воняет табачищем и водкой и носит мужские портки, к поэзии Ахматовой, Вероники Тушновой, Ирины Снеговой, Тамары Жирмунской, Марии Петровых и Беллы Ахмадулиной, которых современное общество то целовало взасос, то сплевывало, но так и не поняло, не почувствовало, не прочло достойно.

Да что ж тут сетовать, коли мы до сих пор не прочли как следует Лермонтова, Пушкина, Гоголя, на "бурном пути" обронили величайшего поэта Державина и только-только сближаемся не глазом, а чувством и сердцем с Тютчевым, Фетом, загадочно утонченным Гумилевым.

"Из этой боли суть ее извлечь

И превратить в единственное слово

Да так, чтоб после не утратить речь,

Платя с лихвой за золото улова...

Немыслимое это мастерство

Исполнено такой смертельной муки,

Что впору отказаться от него

И навсегда окаменеть в разлуке...

Так что ж тогда и временный успех,

И гонка за земной, непрочной славой,

Когда слова, что сокровенней всех

На сердце оставляют след кровавый?!"

Сейчас пишется море стихов, но поэзии истинной в них присутствует капля. Марина Саввиных творит поэзию, потому что рождена поэтом, уготовила себя и развилась в поэты. Тревожно и боязно за нее. У Марины Цветаевой были Париж, Европа, блистательные спутники и слушатели, которые, однако, не уберегли ее от горестного, трагического конца. У Марины Саввиных провинция под ногами, злое, беспутное время вокруг и, наверное, нет достойных ее дара читателей и слушателей, потому что и читать, и слушать ее надо так же уединенно, как музыку Шуберта, в большом зале, среди людей, но как бы один на один, находясь с композитором, из сердца в сердце с ним сообщаясь.

Храни и помогай Бог ей и всем нам!

1995

За синей рекой

О Михаиле Голубкове

Как немилосердна, как несправедлива бывает судьба к иным людям.

Михаил Голубков прожил жизнь трудовую, возрос в трудовой семье, в трудноживущем поселке под специфику его определяющем названии - Углежжение. Поселок этот за городом Чусовым, на склоне реки Усьвы. Его построили и каменный косогор обжили спецпереселенцы, что на обыкновенном, не казенном языке обозначает раскулаченные, точнее, разоренные во время коллективизации крестьяне, высланные подальше от своих сел и подворий.

Спецпереселенцы, которых посылали работать и умирать, были еще из той крестьянской русской породы, которую мало убить, надо еще и повалить! Не всех повалили, но многих уморили, свели со свету. Углежженцы производили продукцию, совершенно необходимую металлургическому заводу - выжигали древесный уголь, жили, плодились. И еще как плодились! Стайки крепких, в банды ребячьи объединившихся парнишек, владели округой Углежжения и никаким пришлым особого ходу не давали. В первую голову бойцы Углежжения овладели прорвой. Выкинув очередное, пожалуй что предпоследнее колено перед тем, как слиться с рекой Чусовой, своенравная Усьва промыла, прорвала земную препону и устремилась в последнем броске к сестре своей - реке Вильве. Но по рекам шел сплав леса, нужного стране, прежде всего Углежжению, - и люди забили сваями, загородили прорву. Лес не растаскивало дурной вешней водой по пойме и кустам, но в прорву так его плотно набивало, что все лето ходи по нему, живи на нем - не провалишься.

В прорве, где дно глазом не достанешь, в темной глуби, в рычащих потоках, вырвавшихся из-под сгрудившихся бревен, всегда водилась рыба. Много. Всякой. Зимами обретался и плодился во тьме водяной налим, летами гулял ловкий хариус, плавал на виду, рвал под прорвой лески вальяжный голавль, язь тоже плескался и пробовал рвать лески, охотничал, разгоняя тучи малявок, наглый и неутомимый окунь. Но главная ребячья добыча: елец, сорожка, ерш - тут стояли и кормились круглый год.

А по-за прорвой поля подсобного хозяйства металлургичес- кого завода, стада коров, коней. Картоха крутом цветет и зреет - наливается, пеки ее в углях, вари в старом ведре, рубай от пуза. Конечно же крепенькому, рукастому малому, на выселении народившемуся, здесь, на прорве, самое место расти, мужать, тонуть, спасаться и закаляться, да характер боевой, самостоятель- ный обретать.

Слово "гулять" углежженческой братве было незнакомо, а вот слова работать, помогать, побеждать - знали они с люльки. Взрослые люди ломили тяжкую, грязную, губительную по вредности работу, выжигая уголь. Парни и девки доглядывали дом, хозяйство, управлялись со скотом. Вода, дрова, сено, вывозка назьма на огороды и сам огород-кормилец были на них, на ребятах. Учились они в школе упорно, да неважнецки. Зато уж в работе и драке поискать надо было равных, хотя в самом городе тоже обретался народ неробкого десятка и не аристократического задела, пролетарский, рабочий город, чумазый, вниманием властей не избалованный народ, закаленный в очередях за продуктами и промтоварами первой необходимости тоже большей частью спасающийся огородами да своими коровами.

Людные сражения, что на поле Куликовом, случались на прорве меж городскими пролетарьями и углежженскими куркулями, противостояние переходило из поколения в поколение, но после как-то само собой и унялось.

Лес по Уралу срубили и нечего стало плавить; древесный уголь на заводе заменили коксом; в Усьве и на прорве вывелась рыба, даже неутомимого едока ерша не стало; подсобное хозяйство разрушилось, пашни заросли, скот вывелся, и на полянах развернулись "пикники", стало быть народные гулянки, обретавшие все большие черты массовой пьянки, дурного безобразного разгула. И поляны, и берега рек Вильвы и Усьвы трудящиеся, веселясь, загадили; берег битым стеклом и бросовым железом засорили. Поселок Углежжение сделался пустынным, большей частью пенсионерским, но Миша Голубков всегда о нем тосковал и рвался туда, хотя и отец, затем и мать умерли, однако братья, сестры, "родова" еще велись за синей рекой, как он называл родную Усьву. Однажды я посоветовал ему так назвать книгу, и он обрадовался моей подсказке, но сказал, что под такой красивый заголовок и прозу надо помещать красивую, - поработаю, мол, поднапрягусь, может, чего путное и получится...

Не успел он написать о синей реке, многого не успел сделать...

Ах ты, доля человеческая! Что ты? Кем, как ты определяешься? Почему в наш век беды так часто обрушиваются на людей достойных и сильных? Почему? Нет нам ответа...

Михаил Голубков во всем был работяга. И самостоятельность, и упорство были основными чертами его характера, да ведь на выселениях этих углежженских бесхарактерные, слабые и не выживали - строговоспитательная советская система сминала их, обращала в прах или делала людей приспособленцами, плодила тучи деляг хитро-подвидных, идейных бездельников, кормящихся подле родной и поневоле "любимой" партии.

Работая после института лесоустроителем, на инженерной должности, Голубков не выдержал совместного сосуществования с теми, кто уже навык "пень колотить, день проводить", истаскавшихся по великим стройкам коммунизма, по тюремным нарам и лагерным баракам, коим прилепилось точное название - советские придурки. А это придурки высшего качества! Нигде в мире нет таких наглых, изворотливых, опустившихся, проповедующих ими же выбранную мораль: где бы ни работать, лишь бы не работать. Инженер-лесоустроитель бросил руководящий пост, взял топор, мешок и ушел в лес один. И много лет он один-то и ходил по тайге, рубился в одиночку, воздвигая шаткое здание социализма.

Как, когда Голубков появился у меня в квартире со своими рукописями, не помню - постоянно и много приносили и приносят мне рукописей, еще больше шлют по почте. По-моему, сперва было письмо с просьбой познакомиться с его рукописью, с обратным адресом - из города Чусового! Ну как тут не прочтешь! Силен и хитер начинающий автор был, жизнью крепко бит, я его так и называл - "элементом", и никому так не доставалось от меня, никого я так много не пилил и носом не тыкал в бумагу, как его. Терпел. Понимал, что добра ему хочу. Скоро, очень скоро уяснил, что литература - дело серьезное и если по жизни с чем-то не соглашался, горячо спорил за рукописью, как ее не исчеркай - смирялся, лишь иногда подавал робкое возражение своим продевчоночьим голосом и снова молчок. Много читал Миша, "догоняя культуру", внутренне наполнялся, совершенствовался. Учился творческому ремеслу в зрелом возрасте, от книги к книге крепчала его рука. Его рассказы стали появляться уже и в столичных журналах, - там же книга вышла, лез упорно в гору, ломая ногти о заманчиво-ласковую, но каменистую литературную почву. Трудно и упорно взнимался уральский мужик к совершенству и мастерству, многое от него ждалось, многое уже и обещалось талантливым писателем, с крепким телом, всегда

румяным лицом, с руками, знающими труд и умеющими держать любой инструмент, что для земли, что для дома.

Когда мне в Вологде сообщили, что Миша заболел самой страшной, самой беспощадной болезнью века - я не поверил - не может такого крепкого мужика свалить никакая болезнь, не может подкосить никакая беда. Но когда приехал в Пермь, понял; болезнь и смерть все могут.

Он еще боролся за жизнь, лечился какими-то лесными травами, кореньями, хвастался, что заставил "своих баб" - жену и дочь набрать ему ведро земляники, говорят, мол, помогает. И он съел ягоду и даже лучше себя почувствовал, стал пробовать за стол садиться...

"Ничё, ничё, мы еще поборемся! - говорил он. - Мы еще, Виктор Петрович, на прорве ельчиков подергаем...".

Больше не суждено ему было побывать на прорве, в родном поселке, повидать свою любимую сторонушку, поплавать по беспредельно любимой реке Усьве.

Течет и сияет меж гор любимая река Усьва, о которой он не успел написать главную книгу, витает его душа над нею, над седым Уралом, сияет неизреченное о них золотое слово, но память моя и слезы его друзей, жены и дочери - с ним, с этим замечательным человеком, моим послушным, трудолюбивым учеником и, надеюсь, не только моя. Я думаю, на Урале еще помнят и любят своего негромкого, но искреннего певца. Как он любил свой край, народ свой, да вот осталась недопетой его задушевная песня. Все, все осталось за дальней горой, за исхоженной и помеченной его топориком тайгой, за синей, синей рекой.

1997

с. Овсянка

Книга юных северян

Предисловие к книге "Мы из Игарки"

Летом 1928 года в устье Губенской протоки бросил якорь пароход "Тобол". За каменным мысом, позднее названным Выделенным, на Енисее штормило, гуляли там беляки, с грохотом разбиваясь о скалистые выступы, но на протоке волнение и шторм были едва ощутимы.

В Заполярье прибыла и надолго обосновалась на берегу протоки экспедиция, возглавляемая геологом Урванцевым и инженером Рюбиным. Промерялись входы в протоку, определялось место стоянки кораблей, закладывалось основание нового порта на Енисее, который вскорости получил название Игарка, по имени охотника Егорки, зимовье которого якобы стояло здесь когда-то.

Трудно строился город на вечной мерзлоте, трудно складывались судьбы людей, трудно давался каждый шаг, каждое строение, каждый кубометр экспортной древесины. В первые годы косила людей цинга, морозы доводили первопоселенцев до отчаяния, и много их легло в неглубокие холодные могилы Заполярья. Но дом за домом, улица за улицей, ощупью, с оглядкой на прошлые ошибки, накапливая опыт строительства и совместного житья разноязыких народов, зачастую приплывавших сюда не по своей воле и охоте, возводился новый заполярный город - один из первых в стране.

С самого очень трудного начала строительства царил в городе дух какой-то, ныне уже и не всеми понимаемой бодрости, коллективизма, взаимовыручки. Первопоселенцы рассказывали, что сначала складывали печи из кирпича, выжигаемого на кирпичном заводе в Медвежьем логу. Над печью делали козырек из горбыля, чтоб не мочило стряпух, потом к столбикам прибивали тесины с одной стороны, подумав, прибивали и с другой, третьей, четвертой, еще подумав, засыпали меж стен опилки, прорезали окно одно, другое, - и вот оно, жилье, пусть и временное, уже готово. Главное было сложить печку. Работники кирпичного завода работали круглыми сутками и семьями здесь, на кирпичном заводе и жили; ребятишки, а их в крестьянских спецпереселенческих семьях было, как луковиц в связке, очень любили спать в сушильных жарких цехах, возле горячо пыхающего кирпича.

В праздники недавние крестьяне, отделавшись от испуга и неразберихи, немножко обжившись на далеком, болотистом берегу, охотно справляли и старые, и новые праздники; под козырьками, в сараюхах, насыпных строениях с односкатной крышей, звучали гармошки, песни, гулялись свадьбы, справлялись поминки, складывались новые семьи и новые человеческие отношения.

Непростые, надо заметить, отношения, как в социальном, так и во всех других смыслах. Была комендатура, были комендатурские работники, возникли столовые, магазины, управления, которые назывались "комендатурскими". Даже после того, как сама комендатура исчезала и заведения общепита получили порядковые городские номера, народ продолжал их именовать первоначаль- ными и поныне кой-кому коробящими чуткое, "нежное" ухо названиями.

В этом городе труд был воистину всему голова! Он объединял, он спасал, он помогал сплочению и дружбе. К счастью, "отцам" молодого города не пришло в голову разделять детей с помощью спецшкол и каких-либо других сверхмудрых учебных и административных заведений и организационных мероприятий. Жили, учились и работали все вместе. Теснота города, длинная-предлинная зима, общность интересов объединяли людей.

Рабочих рук, особенно в Карскую экспедицию, в период навигации не хватало, на помощь приходили все: домохозяйки, старики, дети работали на бирже, на причалах, на заводах, и многие подростки к шестнадцати годам уже имели погрузочную или лесопильную специальность. Заработки по тем временам, во время Карской, были хорошие, и хотя взыскивались со спецпереселенцев всевозможные, порой совсем уж хитроумные налоги, народ, пусть и тесно живущий, обзаводился имуществом, одеждой, предметами культуры и быта, во всех почти однокомнатных квартирах, в бараках звучало радио, патефоны, появились велосипеды, швейные машинки. К концу тридцатых годов были выведены здешние сорта картофеля и овощей, увеличился завоз продуктов, почти полностью была изжита цинга.

В эту же пору в Игарке появился драмтеатр, возглавляемый "аргонавтом искусства" Верой Николаевной Пашенной, и хотя население города долгое время не превышало десяти тысяч, в театре никогда не было свободных мест; впрочем, и кинотеатры ломились от зрителей. Здесь жило какое-то жадное, непоборимое стремление к общению, содружеству, творчеству.

Игарские ребятишки - это особая статья в жизни Игарки тридцатых годов. Много их потом пало на войне, иные уже покинули земные пределы, исчерпав сроки жизни. Но те старики, что еще живы, чаще всего вспоминают, как, придя на лесозавод, часами простаивали у пилорам, не ощущая мороза, не отрываясь, смотрели как механические пилы, струя опилки вниз, где их сгребали в специальные ящики и на конях свозили на свалку, кроили бревна на доски. Рабочие, накатывая баграми бревна на блескучие ролики, отбрасывая горбыль и обрезь - "макаронник и торец", трудились молча, споро. Никогда они не прогоняли ребятишек, завороженно слушающих звон пил и аханье тяжелых механизмов, хотя кругом висели упреждения типа "Посторонним вход воспрещен", "Не стой возле пилорамы", - потому как не было в Игарке "посторонних", все были свои в "доску", и мужики только для порядку прикрикнут, бывало: "Орлы! Не курите тут!" или нос у какого-нибудь "орла" утрут рукавицей, расхохочутся и работают дальше. Иногда и по двенадцать часов, потому как зимой из-за совсем непереносимых морозов случалось немало "актированных" дней, а план - он не ждет, и экспортная продукция к приходу морских кораблей, в ту пору чаще всего иностранных, должна быть приготовлена.

И работа на заводах, и жизнь, и учеба, и всякого рода общественная деятельность зимней порой шли в Игарке под крышами, в тепле. Но игры, ребячьи забавы, потасовки, езда на собаках, катанье на лыжах и санках, охота на песца и куропаток, сооружение снежных катакомб, сражения после просмотра фильмов - все это совершалось на улицах, на Губенской протоке, возле бараков и на небольшом, деревянными щитами огороженном стадионе. Ребята росли задиристые, крепкие и норовистые. И большие были выдумщики в забавах, играх и всякого рода развлечениях.

Много в Игарке работало самодеятельных кружков. Ребята что-то пилили, строгали, клеили, вырезали, сооружали, и не только во дворце пионеров или в школах, но и дома, по избам и баракам.

И еще в Игарке очень много и жадно читали. И хотя был всесоюзный клич по сбору

книг для Игарки, их все равно не хватало. Тогда возникли во многих школах литературные кружки, ребят охватил творческий зуд, повсюду стали издаваться рукописные журналы, для которых сами ребята придумывали названия, сами писали в них стихи, заметки, рассказы и очерки. Кто не умел сочинять, тот картинки рисовал, а которые школьники ни писать, ни рисовать не могли, те сшивали, клеили, брошюровали школьные издания.

Такая вот тяга к коллективному творческому труду и послужила толчком для создания книги "Мы из Игарки", со дня выпуска которой прошло уже 50 лет.

Намерения юных игарчан написать книгу о себе и о своем заполярном городе поддержали письмами Максим Горький, Ромэн Роллан, Мартин Андерсен Нексе и другие деятели культуры за рубежом и в нашей стране.

Но "что имеем - не храним, потерявши - плачем", - гласит старая русская пословица. Оригиналы писем М. Горького в Игарку сгорели в одном из многочисленных пожаров - постоянном бедствии деревянного города. Не нашлось в крае и в Игарке людей, кто бы позаботился о сохранении этих бесценных реликвий, также и литературного музея с безвозвратно погибшими рукописными журналами, рисунками, изделиями и предметами школьного быта тех лет вместе со школой No 12...

Тогда, в середине тридцатых годов, слово "конкурс" еще не было так распространено, как ныне, но что-то подобное конкурсу, возбудило весь город. В каждом классе, в каждом кружке шла напряженная творческая работа. Ребята "творили", писали о себе и обо всем том, что было в городе, как он строился, как им тут живется, работается. Игарский преподаватель русского языка и литературы, будущий известный сибирский поэт Игнатий Рождественский так писал об этом;

На вездеходах и на самолетах

Вернулись дети в школу-интернат,

Минуло лето в играх и заботах,

Был каждый день событьями богат.

Раскрыты аккуратные тетрадки,

И пишут, пишут в них ученики,

Как первый раз копали в тундре грядки,

Палатки разбивали у реки.

Пасли на взгорьях молодых оленей,

Ходили за белухой в океан.

И не для классных только сочинений

Для книги хватит летних впечатлений

У маленьких саха и нганасан...

Результатом творчества юных игарчан явилась книжка "Мы из Игарки", имевшая тоже свою довольно содержательную историю. Она была и остается одной из самых читаемых книг.

Городок из тех, что назван в песне "не великим и не малым", по-прежнему живет напряженной трудовой жизнью. В лесопильных цехах, где когда-то рабочие баграми накатывали на транспортер обледенелые бревна, и они медленно плыли вверх под ухающие и ахающие механизмы, спаренные, затем счетверенные полотна пил "расчерчивали" их повдоль, выкраивая из середки бревна экспортный, "золотой" пиломатериал и, сваливая на стороны краюхи горбылей, теперь сидят за пультами операторы, нажимают кнопки. Народу в цехах мало, тепло, светло, почти бесшумно, но пахнет по-прежнему "вкусно" смолистыми сдобными опилками. Игарский экспортный материал, выпуск и вывоз которого возросли в десятки раз по сравнению с планом

тридцатых годов, по-прежнему пользуется большим спросом и успехом на мировом рынке.

"Карская" ныне продолжается не полтора-два месяца, а почти до ноября работают ледоколы, пробивая путь лесовозам по Енисею до Карских ворот и далее, по Ледовитому океану в далекие порты назначения.

И сам город Игарка сместился в сторону, центр его теперь находится на мысе Выделенном. Здесь, на каменном мысу, поставлена стела в честь пятидесятилетия Игарки и здесь же возводится новый город из многоэтажных кирпичных домов. Есть и школа. Новая, удобная, с хорошей библиотекой. Ребята, объединенные в группу "Поиск", открыли общешкольный музей и скоро вместе со взрослыми жителями города будут открывать игарский городской музей.

А старый деревянный город состарился и выгорел. Мало в нем осталось приметных зданий прошлых лет.

Продолжает трудиться лесокомбинат в Игарке - "кормилец и поилец" заполярников. На острове Полярном (Самоедском) зимой и летом напряженно работает игарский аэропорт, много теплоходов и самоходных грузовых судов приходит летом в Игарку, почти исчезло слово, корябающее ухо, "вербованные".

Изменений, видимых и невидимых глазу, много. И вот одно из них - на улицах мало народу. Город, который кипел ребятней, звенел их голосами и смехом, почти пуст, в особенности вечером, а "вечер" тут всю зиму. И взрослые, и дети смотрят телевизор.

Не стало в городе драмтеатра, он переехал в Норильск, на пути потеряв имя Веры Пашенной. Стал он называться именем Маяковского. Лениво посещаются и кинотеатры, Дворец культуры лесопилыщиков, поугасла творческая жизнь в городе и в школах, тяжелый вред нанесен окружающей природе, столь здесь ранимой.

Но по-прежнему Игарка остается в крае, да наверное и в стране, одним из самых читающих городов.

Шел я по улице Таймырской и почти уткнулся в утонувший в сугробах домик, к крыльцу которого протоптаны глубокие тропинки. Что-то знакомое мне в нем почудилось. Оказалось - это старая библиотека. Детская. Ныне - филиал детской городской библиотеки. Зашел в помещение. Сухое печное тепло в библиотеке, деревянные стены побелены известкой. Тишина. От окон, заваленных снегом, сочится полусумрак. Так и тянет, как в детстве, сесть за стол, прочесть страницу-другую и задремать в этом книжном уютном царстве.

Книги в библиотеке сплошь изношенные, Хорошо это. Читают игарские дети, хотя по нынешним временам, быть бы книжному фонду здесь и побогаче не мешало.

...Самолет взмыл над островом, над протокой, медленно поднимается над городом "в гору", и все уютней, прибранней и сиротливей смотрится сверху далекий порт, приютившийся в устье Игарской (Губенской) протоки. "Сиротливость" его от зимы, от бескрайности Заполярья. Верится, через месяц-два вскроется лед на Енисее, прибудут сюда морские суда за экспортным пиломатериалом, по Енисею пойдут теплоходы, самоходки, наверное скоро и "метеоры" в Заполярье прорвутся.

Жизнь идет. Продолжается освоение Севера. Строятся новые города, осуществляются дерзкие замыслы человека, и верится, что новые поколения юных игарчан осуществят давно возникший замысел - напишут и составят продолжение славной книги "Мы из Игарки". Им есть о чем поведать потомкам.

1987

Тоска по тундре

О стихах Владимира Романенко

Бродячий дух стихотворца вечен и неистребим. И в каждом уголке земном, у каждого костерка, привала, деревца, цветка, лесной избушки, речного бережка - остается кусочек его души. И он, этот кусочек, что неистлевающий уголек, греет сердце поэта, не дает угаснуть воспоминанию, озаряет звуком, наполняет душу тем, всем

тем, что зовется блаженством и чувством красоты.

Я прошел очень много дорог,

Для меня они - вера и боги,

Я не помню, чтоб встав на порог,

Не подумал о новой дороге.

Владимира Романенко с Украины занесло аж в Заполярье, на Таймыр, где он, выполняя продовольственную программу, в очередной раз намеченную мудрой партией и не менее мудрым правительством, ловил рыбу у порога на реке Хантайке, зимогорил, перемогал одиночество, постоянно ждал гостей, и они его не объезжали и не облетали. Человек общительный, по-хохлацки бурный, горластый, он без людей не мог обходиться и, когда его постигало одиночество, выговаривался, иногда и выпевался в стихах, где ясно проступала, светло звучала тоска по ридной Украине. Из этой вот тоски, умения любить жизнь, помнить, откуда ты родом, мыслить и разрешать вечный вопрос: зачем ты здесь, на этой Хантайке и вообще на земле присутствуешь, и родился лучший в сборнике "таймырский" цикл стихов. Но Романенко не был бы хохлом, если б не бурлил и не откликался, локтем в бок не ширял дорогую действительность, не язвил бы по поводу современной жизни, перестройки и всех предряг, происходящих с современным человеком, при этом как-то так выходит, что под перо его попадает больше сосед дорогой - его он разит сатирой, видимо, из чувства братского, памятуя о такой еще недалекой, горячей дружбе народов, которая по старому еще анекдоту, заключалась в том, что настоящая дружба - это когда все дружные народы, объединившись, идут бить русских.

Но Романенко-то, стихотворцу уж никуда от "уз" не деться - он по Руси поколесил, много водки с узкоглазыми северянами выпил, но и с широкогорлыми Иванами тоже, глубоко врос в язык и почву нашенскую, прежде всего сибирскую. И петь ему две земли, и славить два народа, и тосковать по тундре двумя сердцами.

Давно там не был,

Где ветер мая,

Под синим небом,

Гусынь гоняет.

Все брошу разом,

Чтоб в кои годы

Попасть на праздник

Родной природы...

А природа, она пока еще стоит, зеленеет и торжествует веснами, поливает осенним золотом - листобоем землю, и речка Хантайка течет все там же и туда же, и порог на речке шумит, и ход рыбы совершается весной и осенью и в пенных волнах раскаленным хвостом бьет, будто из пушки, ахает таймень в подпорожье, и тундра веснами цветет все так же сочно, дружно и дух захватывает от этого невиданного, нигде более не повторяющегося цветения, и доброго человека ждет одинокая, пустая избушка на реке. И рука тянется к перу от чувства красоты и любви ко всему этому, и тоска по просторам, тоска по хоженым и нехоженым дорогам влечет того, в ком сердце не остыло, кто не перестал радоваться жизни - этому Великому нам Божьему дару.

Пой песню, поэт, краше жизнь будет и убавится горя и боли на земле, той, где бы ты ни был, где ни ходил во утешение свое и наше, и живи, дыша полной грудью.

Красноярск

Белая тишина

О творчестве Владимира Жемчужникова

Думаю, чем дальше мы будем жить, тем чаще, настойчивей и серьезней люди вообще, а писатели в частности - будут задумываться о природе, о будущем земли и о человеке, стоящем между этими, полярными когда-то, но ныне настолько сблизившимися полюсами, что существование человека и самой жизни вообще оказалось вроде бы совсем неожиданно для человечества под угрозой исчезновения.

И все, кто обостренно чувствует время, кому небезразлично наше будущее, все громче и громче бьют в тревожные земные колокола.

Повесть "Белая лайка" Владимира Жемчужникова, родом уральца, но всю свою сознательную жизнь прожившего в Сибири и настолько "осибирячившегося", что уже роднее Сибири и нет ему земли, повесть эта в том же ряду, который мы приблизительно, за неимением свежего термина, именуем "экологическим рядом".

Сейчас много пишется и говорится о городской или окологородской природе, о той, которую достают ближним взглядом литераторы и публицисты, в большинстве своем ныне живущие в городах. Многим кажется, что там, в глуби сибирской тайги, широкой и далекой тундры, все еще стоит белая тишина, глушь там и первозданный покой.

Владимир Жемчужников много лет занимался охотничьим промыслом в Восточных Саянах, да и сейчас большую часть года живет на Байкале, у истока Ангары и наяву, так сказать, видел и видит взаимоотношения человека меж собой и тем, что именуют природой, зачастую забывая почему-то, что и сами мы есть неразделимая часть этой природы, может, и "забываем" оттого, что не всегда и далеко не во всем, в особенности в отношении к земле, показали себя не "лучшей частью".

Нет надобности пересказывать повесть Владимира Жемчужникова, поначалу спокойную и даже убаюкивающе- вкрадчивую. Да и чего вроде бы тревожиться: какие-то ученые на каком-то участке необозримой тайги ведут учет поголовья белки, занимаются наблюдениями, попутно охотятся, выполняют план...

Но в природе вообще, а в тайге в особенности так все взаимосвязано, в такой плотный клубок свито, что обрыв нитки где-то, в каком-то месте может все "сбить с ноги", запутать, перевернуть вверх дном. И это прекрасно понимают герои повести, они видят "вперед и дальше", не умозрительно, а воочию, "согласно науке", где все проверяется, перепроверяется, где каждому слову, цифре, выводу соответствует точность анализа, неотразимость доказательств.

Согласно с "наукой" не так уж все благополучно в белоснежной тайге. Как и всюду на земле, современное течение жизни здесь не только многоводно и тревожно, но и многомерно; как и всюду, здесь зло и добро противостоят друг другу, и напористое зло под покровом тишины и глушины порою берет верх над добром невидимо, коварно и ох как жестоко!

Белая лайка - символ белой тайги, преданнейшее человеку животное, труженица, хлопотунья - гибнет от руки завистливого, темного человека; а сколько горестей, сколько растлевающей спеси, распущенности приносят с собой бичи - эти "свободные люди", распустившиеся от безделья, дармоедства, пьянства.

Они давно уже бродят по тайге и, не желая работать, кормятся от тайги, от случайного заработка, от случайных встреч, и поначалу смешные, даже нелепые в изображении Жемчужникова, они в конце концов превращаются в темную силу, чуждую не только самой тайге, но и духу жизни таёжной прямодушной, гостеприимной и все еще доверчивой.

Почти в тех же местах, где когда-то охотился автор повести "Белая лайка", произошла не так давно жестокая трагедия.

В промысловые избушки еще с осени были заброшены продукты, орудия лова и все нужное для жизни и работы промысловика. По первому снегу пришел охотник в избушку, а она и в ней все разорено, поедено, выпито, разбито. Горестно опустив голову, отправился промысловик за десятки верст во вторую, запасную, избушку - и там то же самое. В избушках жили, пировали и наслаждались "свободой" бродяги-бичи.

Охотник бросился в погоню, выследил пьяных бродяг, перестрелял их и сам на себя заявил в милицию. Охотника судили, приговорили к высшей мере наказания...

Всего этого не знал Жемчужников, но таежных трагедий он видел и ведал немало, да удержался, не напичкал повесть "страстями-мордастями", однако "Белая лайка" читается и без того залпом, она интересна и в незамысловатости своей, оттого что точна по материалу, написана хорошим языком и всюду, за каждой строкой и картиной, слышно биение растревоженного сердца доброго и умного писателя, который и в первых своих очерках и рассказах, изданных в Иркутске, проявил себя как тонкий лирик и боевой публицист, не лишенный чувства справедливой иронии и юмора.

1981

Россыпи зерен

О творчестве Алексея Бондаренко, енисейского охотника

С детства помню картинку в школьном учебнике - в яму свалившегося зверя, кажется мамонта, забивает каменьями, палками, чурками толпа одетых в грубые шкуры людей; какое-то племя от мала до велика "охотничает", и не один уже охотник валяется возле ямы убитый. Тяжелые, надсадные времена были на заре человечества, все-то ему, человеку, давалось тогда с муками, с боем, с кровью. И сама охота была для людей не забавой, не развлечением, а жизненной необходимостью, добычей пропитания. Учеными подсчитано, что средняя продолжительность жизни человека-неандертальца равнялась восемнадцати годам. Впрочем, "осчастливленные" наши северные народы уже недалеки от неандертальского века и возможностей жизни тех людей той поры. Ими, северными народами, выстраданные, многими племенами и поколениями освоенные способы жизни на холодных пространствах Севера, показались цивилизованному человеку примитивными, неподходящими, поэтому, привыкший всюду совать свой нос, "грамотный" человек решил помочь "несчастным", и "помог" так, что многие северные народы или совсем исчезли, или стоят на грани исчезновения. Особенно в этом преуспели "радетели" нашей страны Советов, так любящие всех "осчастливливать", что и сами теперь не знают, как жить, с кем быть, чего есть-пить и кому молиться - Богу или черту?

Ну да ладно об этом... Человечишко не раз запутывался и подходил к краю жизни, но сам же в муках и отчаянии, в напряжении всех своих последних сил и распутывался. Авось и на этот раз, на исходе второго тысячелетия как-то вывернется из гибельной ситуации, спасет себя и землю свою родную.

Интересно посмотреть и сопоставить жизнь и деяния людей, увлеченных и владеющих самой древней профессией - охотой. Да, изменения здесь колоссальные! Изменения под стать прогрессу. В тайгу человек уже не заходит, не заезжает, он чаще всего залетает на становье вертолетом или самолетом. Вместе с ним летят его верные помощники - собаки, а еще летит столько необходимого добра и провианта, что ежели все пересчитать, бумаги не хватит.

На уже освоенное угодье, или, как его охотники чаще называют, участок, где построена изба (а не избушка) с баней, печкой, покрытая когда толью, когда и шифером, заранее заброшено горючее в железных бочках, железные же ящики или те же бочки из толстого железа для хранения провианта, тес на пол, на нары, на потолок, бензопила, да еще и не одна, стекло для окон и ламп, свечи, на случай, если становье, или лучше, по-ранешному, зимовье стоит на реке, и дюралевая лодка, а к ней мотор, а к мотору ключи, гайки, лопаты, топоры, проволоки, скобы, крючки; у него и книги, брошюры, журналы старые, чаще всего заимствованные из библиотеки, списавшей периодику в макулатуру. И еще всякой всячины, конечно, убрано, припрятано на становье охотника, и летит он в вертолете, забитом до потолка продуктами, ловушками, связками капканов, оружием, патронами, когда и рацией, когда и аптечкой, когда и радиоприемником на батарейках, когда - кто побогаче - и динамик в тайгу прихватит, чтобы электричество какое-никакое светилось в помещении. Но главное - чтобы переносная лампа горела... Все-все, как у коробейника, у современного охотника имеется - работай себе на здоровье, промышляй, добывай "мягкое золото" родине, которая все норовит взять пушнину у промышленника подешевле, но продать ее подороже. Но это, опять же, отдельный и давний разговор, который многие лета никак не закончится в пользу охотника.

Эва, какую картину я нарисовал-то! Не работа, а райское житье у современного

охотника-промысловика! Но отчего же не очень охотно рвется на эту увлекательноразвлекательную работу современная молодежь? А она у нас грамотная, шибко развитая, где сладко живется и легко копейка добывается чует носом пуще, чем лайка-бельчатница добычу...

А потому не рвется, что от древнего полудикого охотника очень уж многое досталось и современному промысловику. У многих охотников на участке стоит ныне по пять-десять избушек, удобно, конечно, "световой день" полнее используется, но и труда избушки те требуют немалого: отопление, освещение, обиход - избушка-то иной раз по трубу снегом заметена - откапывать надобно, еду собакам и себе сварить, просушиться, на завтрашний день снарядиться, патроны зарядить, накрохи, стало быть, наживки в капканы добыть и наладить, постирать бельишко, починить штаны, обувь подладить, ежели у реки подо льдом сети поставлены, проверить их надо.

И все это дело не в надсаду; все каждодневное, привычное, хоть и нелегкое. Однако от древнего охотника дошла, достала современного человека, в первую голову таежника, древняя тягота - одиночество.

Сколько бы охотники ни говорили, ни рассказывали, ни жаловались на эту неизбывную маяту, никогда человеку не представить, что это такое, если он сам на себе не испытал таежного уединения в полтора-два, иногда и в три месяца.

Как он ждет вертолет, а тот, как правило, не является в назначенные сроки и протомит иной раз два-три дня, иногда и неделю. И та неделя покажется охотнику длиннее года...

Почти во всех охотничьих избушках находил я то небрежно брошенную на стол, то тщательно спрятанную тетрадь - что-то вроде календаря, который часто переступает свои скупые страницы и превращается в дневник, собеседником охотника становится ученическая тетрадка - собеседник нужен всякому человеку, необходим он и охотнику. Много ли с собакой наговоришь? Ах, сколько наблюдений, одиноких дум, иной раз неуклюжими, но искренними стихами или в виде песни изложенных, найдется в тетрадках одинокого промысловика!

"Россыпью зерен" называю я эти нехитрые творения, занесенные в тетради, из которых проросло не одно стихотворение в мировой и прежде всего в русской литературе.

Алексей Бондаренко эти "россыпи зерен" наращивает в виде коротких этюдов, рассказов, зарисовок. Я давно их читаю и вижу, что год от года слух и глаз охотника становятся приметливей и острей, перо - тоньше. Впрочем, я не хочу навязывать вам, дорогой читатель, своих оценок - я ведь не продаю и не покупаю товар, а всего лишь предлагаю побыть вместе с охотником в приенисейской дивной тайге, подышать лесным воздухом, порадоваться, иногда погрустить, поучиться таежному умению: опыту, который никогда не лишний, но особенно нужен, когда оказываешься один в тайге, да еще и в беду попадешь.

Вот и рассказы А Бондаренко читать все равно, что по лесным тропинкам и просекам побродить, слушая неутомимого ходока, негромкого, но доброжелательного душевного собеседника.

1993

Дальний свет

Предисловие к книге "Счастливая каторжанка"

На склоне лет со всей уверенностью могу утверждать, что есть у человека путеводная звезда и судьба, ему предначертанная свыше.

Из многих поразительных судьбоносных совпадений в моей жизни выделю вот это: на пути в 17-ю артиллерийскую дивизию я мог десятки раз попасть в любую из многочисленных частей разного назначения. Уходил я на войну с железной дороги, намереваясь попасть в добровольческую Сибирскую бригаду, которая была затем направлена в Сталинград, пополнила дивизию славного, почти забытого в громе побед и словословий полковника Гуртьева, и полностью в боях погибла. Затем я проходил боевую подготовку в стрелковом полку, который тоже успел в зимний

Сталинград, и, думаю, тоже мало чего и кого от него осталось. Но уже обмундированных, готовых к отправке бойцов выстроили средь казармы, и перст судьбы в лице присадистого усталого майора ткнулся в семьдесят пять солдат, в том числе и в меня. "Раздевайсь!" - буркнул майор. Солдатиков переодели в ношеное хламье да и повезли куда-то.

Поскольку в команду угодили ребята сплошь грамотные, смекалистые, в промысле еды ловкие, на язык бойкие, в доходяг за три подготовительных месяца не пожелавшие превратиться, то и порешили, что везут их в штрафную роту, и не особенно по этому поводу горевали. Пусть везут хоть куда, только б подальше из холодных и голодных казарм, от тупой муштры, от остервенелых отцов-командиров, от бездушия военного лагеря, как потом выяснилось, мало чем отличавшегося от гибельных бериевско-сталинских арестантских лагерей, раскиданных по всей нашей великой и горькой стране.

Но... попали мы в Новосибирск, в автополк, и весною сорок третьего года были распределены по воинским частям, сосредоточивающимся для удара во фланг Курско-Белгородской дуги, на Брянский фронт.

Я вместе с некоторыми давними дружками угодил в 92-ю гаубичную бригаду, входившую в состав 17-й артиллерийской дивизии прорыва, которой командовал Сергей Сергеевич Волкенштейн.

Разумеется, командира дивизии за время пребывания на фронте я видел раза три или четыре, да и то издалека, но слышал, что человек он образованный, с очень боевой и достойной биографией, знает языки, любит музыку, разбирается в литературе, характером суров, однако к подчиненным справедлив.

Так бы и осталась в целомудренной моей памяти эта лестная солдатская молва-характеристика, которая кем-то сочиняется и угодливо распространяется почти обо всех генералах, и они не спешат опровергнуть сии легенды, более того, с возрастом все прочнее в них верят, утверждают в личных мемуарах благостный лик, изготовленный по словесному древнему лекалу. Но перст-то, перст!

К сорок четвертому году фронтовая бюрократия достигла уже некоего совершенства, уже проглядывали в ней черты будущей идеально отлаженной, современной машины, перемалывающей миллионы тонн бумаги, начисто заменившей отчетно-бравой цифирью, бодрым докладательным словом здравый смысл и полезное дело. Доблестно провоевавши половину страны, большую часть техники и кадровой армии, надсажая народ и страну, мудрые руководители собирали и заскребали теперь по всем необъятным закоулкам России все, что могли, и такую отчетность завели, что даже с Днепровского плацдарма по осенней воде плавали нарочные, доставляя на левый безопасный берег в штабы ежедневные донесения о наличии боевой силы, горючего и техники.

Вот так-то под городом Проскуровом благостным солнечным вечером шлепал я в штаб бригады с донесением, песенки насвистывал и заметил, что пыль по всем дорогам поднялась до неба, аж украинскую вишенную зирку застить начало. Тревога в сердце вошла и скоро подтвердилась - женщина с девочкой поймали корову, от стрельбы сбежавшую в поле, "ховались" до темноты в скирде и сказали, что в селе, куда я держу свой путь, уже ужинают немцы.

Тем временем и управление нашего дивизиона с наблюдательного пункта снялось, и, возвращаясь назад, едва я не угодил вместе с донесением в лапы противника.

Четыре дня и три ночи беспризорно шлялся я по украинской осенней земле, как полагалось шибко начитанному человеку, пробовал съесть донесение, но бумага была плохая, толстая, и дело кончилось тем, что пакет я закопал в каком-то лесу, под сосенкой.

Когда наконец нашел я свое соединение, оборванный, голодный, в разбитых ботинках, про пакет никто и не спросил, зато нарвался на штаб дивизии и поимел, наконец-то, личную беседу с командиром ее. Выбрав из толпы хорошо одетых, в хромовые сапоги обутых веселых, сытых чинов офицера попроще, я спросил про свой дивизион, и в это время куда-то направившийся генерал остановился возле меня, вытаращил глаза и сказал, не то озоруя, не то недоумевая; "Солдат, ты с какого кладбища?"

Голос у него был истинно генеральский, зычный, и вид весь был генеральский - он мне показался могучим, рыжим, нарядным, всевластным, и я как-то особенно пронзительно ощутил свою жалкость, ничтожность, козявочность.

Много лет спустя, в Москве, на квартире генерала я пересказал ему всю нашу встречу в подробностях, и он весело посмеялся, а потом по-стариковски вздохнул: "Ох-ох, война, война..."

Тогда же он мимоходом рассказал мне о себе и о своей знаменитой бабушке - Людмиле Александровне Волкенштейн. Было еще несколько встреч с генералом, но все в толпе, на людях, и никак мне не удавалось ближе и подробней расспросить генерала о его жизни и о бабушке. Потом генерал умер, и я сожалел, что вместе с ним ушла почти легендарная история его рода и прежде всего история жизни бабушки. Но спустя несколько лет ко мне домой пришла рукопись племянницы Сергей Сергеевича Волкенштейна Крамовой Натальи Давыдовны и... залежалась.

Современная жизнь вообще и писательская в частности суетна, замусорена мелкими делами, заботами, забита звонками, почтой, так называемыми "общественными" делами, коими писатель вынужден заниматься потому, что лениво, неторопливо, а часто и наплевательски относится к своим делам советская власть, администрация, правоохранительные, природоохранительные и всякие другие органы, издательства, конторы.

Спустя большое время Наталья Давыдовна деликатно, письмом напомнила о рукописи, и тут только, бросивши все докучливые дела, принялся я ее читать и, редкий случай в нынешней жизни и литературе, не смог оторваться от рукописи, бесхитростно, документально изложенной, пока ее не прочел.

Я был потрясен! Не то, чтоб я не знал и не читал ничего подобного, но во-первых, я читал про бабушку "моего генерала", про самого генерала немного, точнее, о его корнях. Больше всего я был потрясен оттого, что, как и многие современные читатели, втянут читать, смотреть и слушать про своедельных преступников - властителей, про воров, бюрократов, тупых держиморд, про проституток, наркоманов, взяточников, хулиганов.

И вдруг, как просверк молнии, как метеор среди полночного неба, как освежающий ветер...

Пересказывать книгу нет надобности, ее надо читать, читать прежде всего для очищения души, для соскребания с нее скверны, наносного и всяческого мусора. Удивительные, прекрасные люди существовали и существуют для того, чтоб, как меди, потершейся о золото, заблестеть и нам, чтоб дальний свет и тепло, идущие от них и от ярко сгоревшей их жизни, согревали ныне живущих людей, освещали путь их тернистый, кочковатый, заставляли верить в высший смысл жизни, в идеалы, за которые боролись герои прошлого времени, не щадя себя.

Такие люди, как Людмила Волкенштейн, много сделали для совершенствования человека и верили, что жертвы, ими понесенные, страдания, ранние смерти облегчат дорогу к достойной человеческой жизни. И не их вина, а наша беда, что мы часто забываем о нашем прошлом, о предначертанной нам судьбе, что темные силы застят, злые ветры задувают тот жертвенный огонь, что зажжен для нас российскими Прометеями, людьми могучего духа и великого подвига.

История наша бывает порой не только глуха и слепа, но и лукава "смертница" Людмила Волкенштейн двенадцать лет провела рядом с другой "смертницей" - Верой Фигнер, которая боготворила свою верную подругу и соратницу, но получилось отчего-то так, что одна из узниц "потерялась" в Шлиссельбургской крепости, маялась в одиночестве только Вера Фигнер.

Из книги "Счастливая каторжанка" читатели наконец-то узнают, что выжили две молодые женщины в страшном каземате только потому, что всегда поддерживали друг друга, и мало того что выжили сами, они помогли выжить и выстоять узникам-мужчинам. Немногие из них, оставшиеся в живых, в своих воспоминаниях не разделяли узниц, но вот современная история умудрилась это сделать.

Свою первую артиллерийскую подготовку в годы Отечественной войны начальник штаба артиллерии Волховского фронта Сергей Сергеевич Волкенштейн провел в 1942 году под... Шлиссельбургом, где в крепости провела юность, молодость, погубила свои

лучшие годы его бабушка - замечательная русская женщина, красавица, умница, несгибаемой воли человек - Людмила Александровна Волкенштейн-Александрова.

Остальное все вы прочтете в этой книге, работу над которой завершила внучатая племянница Сергея Сергеевича Волкенштейна, дочь Натальи Давыдовны, Виктория Михайловна Крамова.

1990

Выбор сделан

О стихах Александра Потапенко

Писать об Александре Потапенко и представлять его читателю как начинающего литератора и легко, и трудно. Легко потому, что трудовая биография у него накопилась уже богатая. Да и повидал он многое на этом неспокойном свете. Жизнь начиналась в деревне Калиновке, за Байкалом. Детство пришлось на войну и осталось в памяти, как для большинства людей его поколения, порой нелегкой, но самой яркой, самой отрадной, несмотря на лишения и недоеды. Первый кусок хлеба, добытый своим трудом, первое свидание и первая любовь, долгие холодные зимы и волнующие весны, разлив цветов в лугах и нагорьях, песня жаворонка над головой и бег горячего коня по росистой траве - все-все осталось в памяти одним волнующим мгновением, и веселый малый, за черноту волос и искристый быстрый взгляд прозванный цыганенком, резво наяривающий на гармошке, затем и на модной гитаре, еще не знает, что память постучится в сердце, и не раз постучится, высекая из него тот самый добрый огонь воспоминаний, от которого согревалась не одна российская душа, исторгая ответное тепло, излучая тот немеркнущий далекий свет, в котором картины прошлого обретали и звук, и цвет, наполнялись нестерпимой ясностью и просили, требовали "быть показанными", ибо ни в ком они более так хорошо и волнующе не оживали, ничье сердце так сильно не волновали, как его, стихотворца сердце, - каждый сочинитель, в особенности начинающий, думает, да ему и полагается так думать, будто он открывает мир впервые и до него об этом мире еще никто не рассказывал.

И корявые, неуклюжие строчки ложатся на бумагу, еще почти глухие, нисколько не созвучные тому гимну, что бушует в душе дерзкого стихотворца, гимну такой, оказывается, дивной Родине - забайкальской деревушке, притулившейся к полулысым предгорьям, к лоскутьям желтых пашен и цветущих лугов в долинах и по поймам бешено мчащихся синих от напряжения речек, в которых не живет, а буйствует, радуется жизни и реке своей нарядная рыба таймень, ленок, хариус и доступный во всякую пору детворе усатый пескарь.

Работа в колхозе, на железной дороге, затем шофером, затем помощником машиниста - длинный путь, и все тревожит, тревожит его "еще не сложенная мною песня и одинокая звезда".

Затем военная служба в Морфлоте, политехнический институт. Казалось бы, жизненная дорога направленна и пряма: получил специальность, распределился - и устремляйся, соответствуй! Но ведь в ней, в жизни-то, воистину много поворотов, и - увы! - все еще порой непредвиденных.

Приехав на место назначения, в Красноярск, и став на комсомольский учет, Потапенко получает приглашение в райком комсомола, и там ему предлагают... поработать в милиции. Он категорически отказывается, ему даже смешно и потешно - в деревне бегивал от милиционера после потасовок на вечеринках и налетов на сельские огороды, а теперь вот на тебе!

Однако райкомовцы настойчивы: надо укреплять милицию, и укреплять людьми грамотными, достойными. Словом, попал Потапенко в новое учение, получил милицейское звание и образование юриста - и вот уже двадцать с лишним лет служит верой и правдой в уголовном розыске родной милиции, стоит, как принято официально говорить, на охране общественного порядка, на самом его переднем крае - он оперативник.

Много, очень много и перевидал, и пережил на этой службе Александр Потапенко, на службе, прямо сказать, не очень располагающей к поэзии. Но ведь есть какие-то нами еще не постигнутые законы бытия, по которым и следуют не только наши прихоти и желания, но и не всегда понятные, внутренние устремления.

Молодой милицейский лейтенант носит с собою на службу ученическую тетрадь и в удобном месте в свободное от забот и хлопот время открывает ее, ставит неровным столбиком слова - его печатают в стенной газете, редко-редко в краевых газетах, какие-то боевые стишки про милицию даже и на музыку положили. Но далеко это, ох как далеко от стихов настоящих.

Побывав на краевом совещании молодых литдарований, он еще раз ощутил это и еще ощутил недостаток культуры, той внутренней культуры, которая паче нынешней, бойкой, но пустоватой грамотности. Вот почему и губятся даже "путем" начатые стихи слюнявыми концовками, да и сами стихи частенько выходят многословны, слащавы, явно смахивающие на "жестокие романсы".

Служба-то вот "суровая и нелегкая", а стихи совсем не суровы, и, что интересно, именно такие стихи нравятся товарищам по работе, с удовольствием они их слушают и даже поют, но вот в печать стихи не идут. И является в душу тот самый треклятый "червь сомнения": "Зажимают, не пущают, гноят..."

Доля правды была в этом: намаячил в городе его милицейский нарядный картуз, подпорчены и отношения с местными "литстудиями", служба-то не только нелегка, но и сурова, а кто ж их, строгости-то, почитает по доброй воле?

Есть один-единственный путь в нашей многотерпеливой периферийной литературе заставить себя замечать и печатать - написать стихи или прозу так, чтобы редактору деваться было некуда, плачь, скрежещи зубами, но отсылай произведение в набор, иначе его в столице опубликуют. А уж "отвергнутое на местах" и напечатанное в столице произведение - это такой укор, такая пилюля самодовольной литпериферии, что огнем горят ее впалые щеки от стыда и раздраженности, ибо "уважать себя заставил и лучше выдумать не мог" такой-то и такой-то литератор, и с ним вынуждены считаться и проявлять к нему соответствующее внимание.

Предлагая стихи Александра Потапенко в столичный журнал, я все это отчетливо понимаю, как понимаю и вижу несовершенство иных его строк. Но у нас сейчас так много печатается совершенных по форме и холодных, пустых по содержанию стихов, что наивные, порой прямодушные и простые с виду стихи немолодого уже сибиряка, согретые благодарной памятью и зрелой грустью, надеюсь, придутся по душе не одному мне.

Я видел по стихам Потапенко, как преодолевал себя начинающий поэт, обрубая банальные привески к стихам, - большинство из них сокращены наполовину! - как вымарывались строки и столбцы, как искал он слова новые, более точные и весомые, как много он сделал за короткий срок, заново почти "начиная себя", - ведь полустихи пишутся пудами даже полуграмотными людьми. Многое сделал Александр Потапенко, чтобы пробиться сквозь дебри полустиха к стиху, но еще больше ему предстоит сделать и преодолеть, прежде всего в себе себя, чтобы пробиться к поэзии, чтобы ярко, неугасимо зажглась на его небосклоне та "одинокая звезда".

1983

Жемчужные зернышки

Друзья, близкие мне люди, любящие всех поучать, говорили и говорят, попрекали и попрекают меня за то, что я много читал и читаю чужие рукописи, гробя свое время и остатки зрения, пытаюсь и на письма отвечать, ныне уже не на все, перебираю кучи бумаг, как та упорная курица, что отыскивает в куче назьма жемчужное зерно.

И ведь нахожу!

Нет почти такого номера журнала "День и ночь", где бы не публиковались эти находки. В 1-м и 2-м номерах за 1996 год опубликован пришедший ко мне из Канска, вовсе безыскусно писаный рассказ, замечательный рассказ Петра Пермякова "Марфа и правнуки", а в этом номере журнала с моей "подачи" публикуются аж три совершенно разных материала, которые я советую прочесть всем, кто еще не разучился читать доподлинное русское слово.

Среди нынешних писателей, кому за сорок, но еще не пятьдесят, я без сомнения считаю самым талантливым и умным петербуржца Михаила Кураева, автора великолепных романов: "Капитан Дикштейн", "Зеркало монтачки", повестей "Читайте

Ленина", "Блокада", "Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петебург" и других, а также многих публицистических статей, написанных не просто умно и страстно, но и непоколебимо в смысле временном и национальном. Я не знаю в современной литературе, прежде всего в критике, кто бы так прямо, с открытой грудью выступал в защиту русской культуры, кто бы так яростно отстаивал здравый смысл истории нашей горькой, вконец запутанной приспособленцами-временщиками и возомнившими себя представителями "передовой советской культуры" и науки, ниспровергающей все, что было до них, и много лет доказывавших "на кулаках", что история российская с них началась и ими же кончится.

Прошлым летом Михаил Кураев приезжал в Красноярск на "провинциальные литературные чтения" и глубокое о себе впечатление оставил умным, добрым словом, а еще, зная, что я "помешан" на Гоголе", оставил и рукопись статьи или эссе, как модно это ныне называть, о гениальнейшем русском писателе, жизнь и творчество которого осмысливается с такого "причудливого угла", с какого "на Гоголя еще никто не заходил". Недавно Михаил Кураев прислал мне еще одну статью - "Чехов с нами", толчком к написанию которой послужило пребывание его в Красноярске и встреча с памятником Антона Павловича на берегу Енисея, уверяю вас, что с таким накалом о Чехове еще никто не писал, хотя в мире написаны о Чехове "вагоны" всяческих, большей частью благодарных и восторженных книг, статей и этих самых эссе.

В ближайшем номере журнала "День и ночь" статья "Чехов с нами" будет опубликована.

Не знаю, как, какими словами предварить публикацию Владимира Гребенникова, художника из Новгорода, моего давнего знакомого и "домашнего" корреспондента. Одно из его писем ко мне уже публиковалось в журнале "День и ночь", а вот новое письмо - откровение. Я не все знаю из того, что происходит в современной культурной жизни и далеко не все читаю, да и кто ныне в состоянии все-то прочесть и "освоить" широкий, большею частью мутный литературный поток. Но из того, что мне ведомо и мною "освоено" размышления, точнее, "откровения" новгородского художника стоят особняком. Ничего умнее и глубже, чем это "слово", я давно не читал. Многое, очень многое из того, о чем мы говорим с горечью и недоумением, что озадачивает нас в современной жизни, ввергает в смутные и тревожные думы и ожидания, решился осмыслить и нам поведать Владимир Гребенников, и поскольку "материал" этот так глубок, горек и высок, что, тронув его, "обожжешься", я не стану предварять его своими рассуждениями, они, как бы я ни тужился, будут выглядеть плоскими и пустыми в сравнении с тем, что предстоит вам прочесть и пережить вместе с автором.

Лучше я расскажу о самом авторе чуть-чуть. Читая его "Слово", вы поймете, что человек этот совершенно независимый ни от кого и ни от чего и "подарил" он эту независимость сам себе, ибо от природы упорен, талантлив в труде и настойчив не только, как художник, но еще и как мастер-ремесленник в высоком и широком смысле этого российского слова и понятия.

Когда я с ним познакомился, у него уже была не просто большая семья, но, по современным понятиям - огромная. Семеро детей, жена, кто-то из родственников и постоянных друзей ютились в трехкомнатной хрущевке, и жили, в основном, огородом. В семье от мала до велика все приучены к труду, все работают посильно своему возрасту. Сами понимаете, что человек самостоятельный, норовистый да еще и талантливый, не мог "контактировать" с представителями советской власти и тем более, с "умом и совестью эпохи". Владимир Федорович сам себе и "ум и совесть". Когда нужда совсем взяла его и семью за горло, он продал ряд своих потрясающих работ за рубеж, потому как "дома" они никому не нужны. И, получив участок рядом с заброшенным, оскверненным безбожниками-современниками, собором, который - он дал слово властям и Богу - не только охранять семьей, но и отремонтировать. Владимир Федорович вместе со старшими сыновьями срубили две избы - для себя и младших детей, и для старших сыновей - отдельно. Все по-русскому обычаю и укладу: выросли, поженились, живите своим трудом и добывайте свой хлеб, помня, что отец и мать - рядом и в беде не оставят, и радость всегда разделят с детьми. Сейчас у Владимира Федоровича уже несколько внуков, и я знаю, что и внуки его не только будут владеть кистью, резцом, пером, но и топором тоже. Рядом с домом, где жили прежде Гребенниковы, была когда-то комната корпункта всесоюзного радио и художнику было разрешено иногда пользоваться помещением как мастерской, и "квартирант" отделал это помещение так, что, попавши в него, даже духовный чин, повидавший терема и храмы, развел руками: "непостижимы чудеса твои, человеце!.."

Я видел дома, срубленные Гребенниковыми лишь на фотографиях, - не дома, а терема - просторные, с резными крылечками, отделанные от подоконников до крыш деревянными кружевами. Хорошо живется в собственноручно сотворенном доме, глубоко думается и печалится сердцем умным человек обо всех нас, беседует с нами, пытается помочь замороченному русскому человеку, заступиться, очиститься душой, прикоснуться к Богу...

Читайте, люди добрые, это "Слово". Оно не успокоит вас, быть может даже еще больше растревожит, но читайте, слушайте одного из умнейших наших современников. И обязательно прочтите сказание или притчу Алексея Вольфова "Нод Николаев", если хочется вам соприкоснуться с причудливым и чистым русским словом и причудами нашей, столь с виду простой, но напряженной жизни. "Нод Николаев" очень пригоден для чтения вслух, прежде всего в семьях железнодорожников.

Уверяю вас, вы не только нахохочетесь, но и наплачетесь, и погорюете, задумавшись и о себе, и обо всем, что есть вокруг нас, и о том, что будет с нами. Читается "Нод Николаев" легко и весело, будто песня поется под стук вагонных колес, да вот в конце песни грусть пространственная, наша, российская грусть невольно охватывает. Так что же поделаешь? Такова наша жизнь, а в притче этой российской тоже "ни убавить, ни прибавить".

1996

Да светится...

В журнал "Советская литература" на китайском языке

Из соседней земли, заснеженной морозной Сибири в февральский, солнечно-яркий, по-зимнему звонкий день шлю моим китайским читателям пожелание добра - здоровья! Мира и доброго урожая земле вашей, прибытка в семье и в хозяйстве, лада и покоя в доме вашем!

Культура человеческая не знает времен и расстояний и, как вечнозеленое дерево, лишь гнется под ветрами земных бурь, иногда у дерева обламываются ветви и даже сносит вершину, но древние, за многие века проникшие в глубь земли и в толщу веков корни не дают упасть и погибнуть дереву культуры и свету разума.

Ли-Бо и Ду-Фу жили в очень далекие эпохи, но время не властно над ними, и когда из VIII века в XX Великий поэт подает голос сострадания в прекраснейшем стихотворении "Стирка" - "Уж осень подходит, и скоро зима будет злиться, а наша разлука томительна и тяжела мне. Работа меня не страшит и в разлуке постылой, но как же одежду пошлю я отсюда, с Востока? Я сделаю все, что позволят мне женские силы. Услышь, Господин мой, удары валька издалека", - я словно читаю письмо русской женщины на фронт, где я воевал солдатом против фашизма и пролил свою кровь. А когда я читаю бегучие и светлые, как горный ручей, строки Ду-Фу, - "Облака проплывают спокойно, как мысли мои, и усталому сердцу ушедших желаний не жаль..." - я до дрожи в сердце, осязаемо чувствую его своим современником и как по волшебству, а поэзия и есть волшебство! - шепчу строки любимейшего моего русского поэта, Сергея Есенина; "Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым..."

Как хотелось бы, чтоб судьбами людей и стран правили поэзия, музыка, мировая гармония, которую так упорно стремятся разрушить силы зла. Как хотелось бы вечного братства, согласия, мира и счастья в нашем доме, в едином человеческом доме - утверждает Великая литература всех времен и народов - название ему, этому дому, в котором мы родились, где живут наши дети, внуки, - Земля.

Да светит вечное мирное солнце над вечной мирной землею!

Голоса необъятной России

Предисловие к стихотворному сборнику "Час России"

Иногда по делу, а чаще без дела и надобности мы роняем, а то равнодушно бросаем на ходу, в спешке, в суете, как пятаки в автоматы, редкие и бывшие когда-то светлыми и святыми слова: Родина, необъятная Россия (есть варианты, близко лежащие: необъятная, необозримая, беспредельная, многоверстная и т. д. и т. п.),

а между тем, прогресс лишил нас возможности упиваться ее необозримостью и беспредельностью. Глянешь иногда одним глазком из быстро мчащегося поезда, все лесополосы да лесополосы одной масти, реденько помеченные черными точками птичьих гнезд. Иной раз мелькнет за ними черепица крыш, в прорехе полосы обозначится лоскутом жнивье или черный клок зяби, веселых подсолнушков и в клочья изорванной кукурузы на зябкой осенней полосе или рядок одинаковых копешек, оставшийся после комбайна, ровно бы большим каким животным выроженных на ходу лепешек, уже серых, остывших; безмолвные и никаких машин не боящиеся сороки да вороны, согнув гибкие вершинки деревцев, недвижно сидят по лесоповалам, напоминая собою, что еще и птицы не все вымерли и кормятся они "с железной дороги" бросовым хлебом, огрызками и корками сыра, а повезет, так и колбасным недоедком. Но защелкают под вагонами стыки стрелок, поведет поезд вбок, искривит состав на минуту и тут же выпрямит возле перрона. Две-три минуты, самое многое - десять, передышки, только и успеешь название станции прочитать, иногда купить газету и тут же отдалится от тебя, отстанет и останется за поездом город или городишко с дымящимися трубами и, как и везде, пятиэтажными домами - серыми коробками современных домов, и уже щелкают под колесами выходные стрелки, рассыпанный по обочинам уголь, торф, разный металлолом, догнивающие и свежие штабеля леса, дряхлые вагоны с дыроватыми бортами, видать, покинутые еще с войны в тупиках, машина или котел, сваленные под откос... И опять пошли лесополосы, козами объеденные, народом и скотом топтанные, но ряды их уже плотнели, и опять тянешь шею, чтоб увидеть, что там за ними, и дрогнет сердце, как увидишь школу на холме, маковку церкви, издали видевшейся еще дюжей, неразрушенной, табунок пестрого скота, трактор, карабкающийся на косолобок, машины, бегущие по тракту или проселку, и уже редкого, но все еще упрямо кружащегося над российскими полями, надменного, трепещущего нервными, пыльно светящимися крыльями кобчика.

Блажен, кто плывет реками на теплоходе, видит берега, лес, горы, прибрежные деревушки, пристани, новые, стандартные городки и пережившие свой век деревни, в которых если и есть что новое, так это дебаркадер, похожий на деловой, удобный катерок, стоянка возле которого тоже сведена до краткого мига - сдать и получить почту, высадить и посадить горстку пассажиров и, в деловитом молчании - на разворот, на ход и вдаль. Ветер в окнах свистит, музыка играет, красные и белые бакена пробками по бокам мелькают, чего-то ждало и мелькало за поворотом - встречный теплоход отмашку белым флагом сделал и тут же исчез, словно во сне приснился.

Но самое оторопное видение - это с самолета, с современного лайнера, что летит, летит над толстым пластом облаков, словно по бесконечному стылому океану катит, да так мягко, безмятежно. От однообразия звука и вида человека ведет на сон, и, слышь, засотрясало машину, глуша турбины, и уже храпят набегавшиеся по московским присутствиям и магазинам, сомлели и спят в креслах пассажиры, некоторые, приняв на посошок пивца или винца, разулись, и густел в салоне дух от сопрелых носков и от перегара. Ребенчишко, долго сопротивлявшийся всеобщему умиротворению, успокоился, время от времени поскрипывая соской.

Свет приглушен. Пугачеву и Гнатюка тоже выключили, жужжат кругляшки над головой, пуская струйки прохладного воздуха, отодвинет занавеску миловидная стюардесса, окинет "свой дом" подкрашенными очами - все спят, сердце ни у кого не прихватило, пить никто не просит, с куревом и с выпивкой тоже все в порядке - сознательные пассажиры, - и задвинет, сомкнет занавески, начнет готовиться к хлопотному и главному в пути делу кормлению пассажиров среди ночи.

Но пока еще не раздалось: "Внимание!", пока покой, благость и мир царят среди случайно собравшейся в воздушной машине сотне людей, какое-то тоже пространственное, даже не усталое, а грустное раздумье сойдет на душу и чувство покоя, а порой и умильность охватит душу, может, от того, что кончилась беготня и суета, грозная машина, грозно взревев, благополучно взметнулась в небеса, даст-то Бог, благополучно и приземлится, может, именно потому, что ты в них, в небесах, а значит, и к Богу ближе, хочется вроде чуть и позаискивать перед Ним, извиняясь за беспокойство, думать хорошо обо всем и обо всех, и почтительно - о небесных покоях, где "витает Дух"... А что?! И витает! И Дух! Кто запретит мне думать об этом да еще в уединении небес...

Но вот внизу, под тучным брюхом самолета, раз-другой мелькнуло что-то темное, запестрели пятна, зачастили разрывы в снежном белом океане - и вот горстка, а там уж и выводок светлых пятен и удаленный, оторванный от земли и успевший когда-то отвыкнуть от нее, вдруг встрепенешься: да это же она, земля! Приникнешь

к холодному, потному от дыхания, кругляку окна, словно к льдинке, вытряхнутой со дна остылого за ночь ведра, который в детстве всегда откусывали, хрумкали, а потом кашляли. И уже неотрывно смотришь туда, в загадочные пространства, в незнакомую, то в ряд, то густо, то впроредь украшенную огнями планету, и снова, и снова спрашиваешь себя с незнакомым чувством щемящей любви и недоумения, словно блудный сын, глядящий издали на родительский дом: "Да неужели это Она?! - и сам себя уверяешь, - она, она, родная твоя Земля, единственная!.."

И чуть позже, в уже смятенную, растревоженную душу войдет: да ведь там, внизу-то, не просто земля, а Россия, моя Россия! Да-да, та самая необъятная, неоглядная Родина моя, и впрямь единственная, и впрямь до боли, до стона близкая, что мать родная, устало спящая среди полей, лесов и гор, раскинувшая усталые, натруженные руки на травянистые холмы, положившая под щеку мягкую поросль леса. Чуткие, много ходившие ноги опустившую в целительные воды рек, озер и прудов, и тихие, беззвучно мерцающие огни стерегут ее покой и сон.

Да будет во веки веков покойна и величава Родина моя, да не нарушится более ее сон и покой громами войн, не вспыхнет небо над нею, не застонет земля, не заголосят в безутешном плаче тихие и добрые ее селения, не захлестнет ее пути-дороги потоками горьких соленых слез... Родина моя! Ты своим долготерпением, своими жертвами и слезами, многострадальностью и кровью заслужила мирной и уважительной доли. Спи спокойно, родная моя! Скоро рассвет. Вон уже красная ленточка нового дня человечества и твоего, моя родная Россия, повисла на недальнем горизонте и скоро самолет перережет ее острием серебристо сверкающего крыла...

Так думаешь в самолетном уединении о всякой всячине, умиляешься, иногда чего-то "сочиняешь", индо и всплакнешь неизвестно от чего, по ком и по чему, и как-то высветлишься в душе, на время отступят мелочи жизни, незначительное действигельно покажется незначительным, малое - малым, ничтожное - ничтожным, и уж непременно посетит тебя мысль о том, что ты вот не спишь, а там, внизу, спят-похрапывают твои друзья-товарищи и не знают, что ты проносишься над ними и думаешь о них, тревожишься и радуешься за них.

Жизнь накапливает не только годы, дни, впечатления, воспоминания, но и людей, тебе едва знакомых, но почему-то запавших в память, заметавшихся зарубками в твоем сердце, а значит, в жизни твоей.

И поскольку основная моя жизнь прошла в занятиях литературных, то и встречаешься чаще и больше - с литераторами, стало быть, и помню, и знаю их ближе, чем людей иного труда. От Мурманска и до Владивостока объехал и облетел я Россию, возьму на себя смелость сказать, что и литераторов России знаю не так уж отдаленно, в особенности поэтов.

Если бегло пролистать историю человечества, то сразу обнаружится скачкообразность его пути. Вот уж все вроде бы налаживается, набирает ход. Вот уж и путь назначен, и цель ясна, и идет к светлым далям дружными рядами сплоченное верой и идеями человечество. Вот уж на рысь переходит и хоп преграда, порой совсем пустяшная, какой-нибудь пень, какая-нибудь колода, но... человечество повалилось, давит друг дружку, копошится, ползает, озлясь, рвет друг дружку зубами и руками...

Ну что такое сучок на могучем земном дереве? Пустяк, закорючка, подставка для пташек, приросток для хвои да листьев. Ан в сучок уперлось человечество, не знает, что делать! Дерево валит запросто, сучок одолеть не может. А все оттого, что сучков тех на дереве очень много и все их надо убрать, аннулировать, чтоб из дерева сделать голое бревно, годное на брусья, шпалы, доски.

Уперлось на сей раз человечество в сучок! И никак не может двинуться дальше, чтоб подчистить, оболванить землю, срубить леса и поскорее без них сдохнуть.

Сучок, сучок проклятый спас и все еще спасает нас и землю нашу. Уж чего только ни придумали люди, чего ни изобрели, но с сучком совладать не могут.

Уже к середине пятидесятых годов нашего века существовало сотни, если не тысячи методов борьбы с сучком, методы все передовые, все экономически выгодные, все сулящие быстрое продвижение по линии прогресса, а значит, и благосостояние человека.

1988

Дорога домой

("Комсомольская правда". Беседа с Евгением Черных)

Я считаю, что в мире сейчас писатель номер один - Солженицын, а вершиной русской новеллистики является, на мой взгляд, "Матренин двор".

- Но вхождение Солженицына в литературу обычно связывают с "Одним днем Ивана Денисовича". Эту повесть выдвигали на Ленинскую премию.

- "Иван Денисович" стал для всех откровением. Это было открытием лагерной темы. Для меня открытия здесь не было. Человека, выросшего в Игарке, знающего, что такое Норильск, человека, у которого были репрессированы отец, дедушка, выслано полсела, жестокостями не удивишь. И хотя сам я не сидел, но знал и видел многое.

Виктор Петрович достает из стола две фотографии. Мужики в косоворотках, смотрящие прямо в объектив.

- Отцу 29 лет. А это дедушка. Семеро детей у него было. За "создание вооруженной контрреволюционной организации" в деревне Овсянке взяли 16 человек. Сейчас настаиваю на реабилитации.

"Матренин двор" стал откровением. Нет, до этого работали Овечкин, Дорош, Абрамов, Солоухин, Тендряков... Уже были написаны ранние рассказы Носова, "Деревня Бердяйка" Белова. Задел деревенской прозы был. Но отправная точка - "Матренин двор".

- Словом, наша деревенская проза вышла из "Матренина двора".

- Да. Дело коснулось, наконец, как и в "Привычном деле" Белова, судьбы простейшей и трагической. Я считаю "Привычное дело" при всем глянце, какой навела на эту повесть критика, трагедией русской семьи и русской бабы. Трагедия деревенской русской женщины, описанная Солженицыным, - наиболее концентрированная, наиболее выразительная, вопиющая.

И на каком художественном уровне! А язык?! Пользоваться таким языком я и смог бы, к примеру, да не смел. Потому что мне, тогда молодому автору, на полях рукописей "знатоки" и эстеты писали: "Густопсовый реализм!", "Ха-ха-ха", "Где вы это слышали?". На провинциала это действует. А на Солженицына - нет.

Кроме тех вещей Солженицына, что были опубликованы, я читал в рукописи лишь "Крохотки". Теперь говорят, что они повлияли на "Затеси". "Затеси" я писал до того, как Солоухин свои "Камешки".

- Того же ряда "Мгновения" Ю. Бондарева, "Зерна" В. Крупина.

- Не думаю, что миниатюры Солженицына, к тому же мало тогда известные, так подействовали. Этот образ художественной прозы вызван суетой нашей жизни и отсутствием собеседника. Способ разгрузить себя. Заменяющий дневники, записные книжки, которых у меня нет. Оказалось, что этот интимный разговор с самим собой нужен и читателю. Наиболее подготовленному читателю. У нас же массовый читатель охоч до толстых романов.

Читатель воспринимал "Затеси" как душевный разговор с ним. Это для меня важно. И так же я воспринял "Крохотки". Среди них есть шедевры: "На Родине Есенина", "Ведро"...

- Главным произведением Солженицына в ту пору был, конечно же, "Архипелаг ГУЛАГ", абсолютному большинству советских людей известный лишь по названию и до самого последнего времени считавшийся самой крамольной книгой эпохи.

- Период-то какой был? Он и сейчас вовсе-то никуда еще не делся, а тогда особенно. Раньше, чтобы публика посещала фильм, требовалось его разругать. И некоторые режиссеры умело этим пользовались.

Так и с Солженицыным. Когда пошла официальная травля писателя, началось тайное распространение и чтение его произведений. Вот уж чего я терпеть не могу. Играет свою роль и физический недостаток. Я просто медленно читаю. И чтобы прочитать такую книгу, как "Архипелаг ГУЛАГ", мне месяц надо. Здесь же приедешь в Москву - тебе шепотом: "Возьми на две ночи". Не прочитать, во-первых, за пару ночей. Во-вторых, читать под одеялом? Солженицын - явление русской литературы, художник мирового масштаба. И я, бывший солдат, крестьянский сын, стал бы читать под одеялом? Оглядываясь? Александру Исаевичу от этого ни жарко, ни холодно. А мне-то каково, уцелевшему в этой жизни, сохранившему хоть частицу живой души?

"Архипелаг" я все же прочитал. История занятная. Прошел слух по Европам, что всех писателей в России истребили. Ну а поскольку мы даем достаточно поводов для разных слухов, толкований - той же высылкой Солженицына, например, непочтительным отношением к большим художникам, ученым. Все это работает против нас. И потому любому, даже самому нелепому слуху "за бугром" верят. Сказали "голоса", что осталась лишь кучка полуассимилированных людей, которые живут в Москве и работают на русском языке. Оторванные от земли, от деревни. В общем, на писателях крест.

Я тогда жил на Вологодчине. В Харовском районе. Это родина Василия Белова. Только его родная деревня Тимониха еще на 70 километров дальше. Глушь. Асфальт - жидкий, вологодский. И вдруг в эти края заносит группу АПН. Во главе с Фрицем Капельгяйненом, представителем Кельнского телевидения в Москве. Этот Фриц решил доказать миру, что российские писатели кое-где еще водятся. А тут в одном районе враз два. Эти гости и привезли с собой "Архипелаг ГУЛАГ". Вот теперь, говорю, буду читать. Но месяц или полтора. Вон какая книжища! Что-то перечитаю, к каким-то страницам вернусь. "Хорошо, - согласился один из работников АПН, - через полтора месяца отдадите в Москве".

Вот так. Думаю, достаточно прочитать "Матренин двор" и "Архипелаг ГУЛАГ", чтобы знать масштабы этого труженика- автора.

Я, может быть, и с вами не стал бы беседовать на эту тему, но уже сейчас начинают трепать имя Солженицына, делать его модным. Скоро и вовсе начнется вакханалия. "Солженицын! Солженицын!" Все будут утверждать, что они его друзья верные, защитники.

Я никакой не друг великого писателя и тем более не защитник. Я просто читатель, российский человек, родня ему по Отечеству. И только. Быть может, некоторое моральное право мне дает о нем поговорить то, что я не подписал ни одной строки, ни одного письма против него. Хотя испытывал большой нажим. Надо сказать, что сейчас все немножко смазывается, мутится, и выходит так, будто бы все бежали, в очередь становились, чтобы подписаться против Солженицына.

- Прекрасный способ оправдать свою трусость. Дескать, все так поступали, не я один. Заявил же популярный ныне депутат своим избирателям, что в годы застоя "сидел в дерьме, как все". Все ли?

- Расскажу о человеке, который хоть каким-то образом противостоял этому. Это бывший редактор областной вологодской газеты "Красный Север" Николай Михайлович Цветков, ныне пенсионер. С виду тихий вологодский мужик, немножко замкнутый в себе. Это он способствовал тому, что на каждую вологодскую книжку в областной газете всегда была рецензия и печатали в "Красном Севере" те вещи, которые, извините, в столице даже "Новый мир" не решался брать. В первую голову стихи Николая Рубцова. И вот начинается кампания против Солженицына. Пошли бесконечные звонки. Я как раз болел. У меня легкие больные, а когда добавлю простуды, злой становлюсь. В общем, дошло до того, что одну газету центральную обложил по телефону. Дочка рядом была: "Что, пап, сухари сушить?" Я и на нее накричал. Страшно и стыдно было читать гнусные письма, пусть никто из "подписывателей" не оправдывается сейчас, пусть все, у кого совесть есть, извиняются перед великим русским писателем.

В областной газете тоже появилось, конечно, письмо. В самом конце. Наскребаны подписи. Подписались люди, которым ради красного словца не жалко матери и отца. Но ни одной фамилии писателя вологодского, достойного называться писателем, не было.

Выхожу во двор. Встречаю Цветкова. В одном доме жили. Я в шубе, он в шубе, тоже

приболел.

"Я, Николай Михайлович, хотел бы вас поблагодарить за то, что не предложили поставить подпись под гнусным письмом".

Он посмотрел на меня пристально и скорбно и потряс головой. "Виктор Петрович, если бы вы знали, чего мне это стоило!" А его предшественник бегал по Вологде и слушал, где петух кукарекнет. Главная обязанность главного редактора - выявить скармливание зерна на дому, четко проводить хрущевскую линию.

Я считаю, что с выходом "Архипелага ГУЛАГа" и "Красного колеса", которое я, даст Бог, прочитаю, предстанет, наконец, перед советским читателем величайший писатель современности, подвижник духа. Хорошо писать про американскую действительность, живя в Америке. И другое дело - писать про Россию, ее историю, живя в отрыве от нее и сохраняя при этом любовь к Отечеству своему. Ведь "Архипелаг" чем велик? Он весь, почти на тысяче страниц, пронизан самоиронией, которая всегда была свойственна великой русской литературе, и прежде всего гению русской литературы - Гоголю. Автор прежде всего самоироничен. Александр Исаевич себя просто не щадит.

Оставаясь в любви к своей Родине, земле, людям, он в то же время поднимается до трагических, страшных моментов истории нашей. Ведь он обличает не буржуя. Он обличает строй, в котором, извините, не всегда были вожди со стороны. Были и из рабочих, были и выходцы из деревни. До каких же вершин скотства, изуверства и похабщины они порой доходили!

Я, как пишущий человек, хорошо представляю, какие сложные процессы происходят в его работе и в сердце, чтобы остаться на уровне великой, трагической правды. Ему все время приходится вступать в противоречия. Где-то и со своим народом, с его незрелой, запутанной частью, с теми мужиками, что до сих пор искренне верят, будто они строили "светлое будущее" и многого добились.

Весь творческий процесс писателя - это прежде всего процесс внутреннего борения и самоусовершенствования. Вот чего нам многим не удалось - внутренне совершенствоваться. Обвинять в этом пишущую братию, которая не приспосабливалась, нельзя. Потому что внутреннее усовершенствование дается, во-первых, огромным знанием жизни, соприкосновением с большой культурой, беспрестанным чтением хорошей литературы, а не словесной мякины, которой нас перекормили и все время твердили при этом - быть в гуще жизни! Нет. Писатель всегда, если он настоящий писатель, был над жизнью. Всегда немножко впереди, выше. И всегда должен иметь возможность оглянуться назад, осмыслить время. А тот, кто терся в гуще, коловерти, спешил "откликнуться", - ничего путного не сделал.

Как сложно самому художнику, я еще раз подчеркиваю, оставаясь за рубежом, творить. Надо иметь огромное мужество, благородство и культуру внутреннюю культуру, - чтобы подняться над своими обидами. В конце концов из того же он мяса и костей.

Есть у него и прорывы в "Архипелаге", когда уже не может сдержаться, орет, пальцем тычет... Особенно кусок про Крыленко. Но люди теперь сами прочитают, что ж я буду излагать.

"Архипелаг ГУЛАГ" - не только огромное произведение, но и обвинительный приговор жестокому времени и насилию. И нам тоже. Своим терпением мы потрафляли насилию.

Присутствие в мире Александра Исаевича, его работа, его честь были хоть какой-то - слово вот произносили! - путеводной звездой. Ну не звездой, так луной, освещающей нас. Чтобы мы не совсем уж в темные углы-то тыкались, на бревна не натыкались.

Его мужество - мужество командира. Существует такое мужество. Вот наш командир дивизиона был. Тихоголосый, маленький. Владимирский родом. Но, бывало, запаникуют на батарее, замечутся: куда бежать?! А он ничего. И, глядя на него, бойцы успокаивались. Так и присутствие Александра Исаевича. Уж если он в изгнании, преследуемый не только нашими "доблестными борцами", но и всякими репортерами, клеветниками международными, имел мужество много и плодотворно работать! Ведь сейчас мы почти отключены от работы. Болтовней работу заменили. А

он не дал себя отключить.

Аскетизм, высочайшее самоотречение, когда человек так поглощен своим творческим трудом, что все земное отпадает. Таким был и Гоголь.

- Солженицын еще не приехал к нам, а уже пошли разговоры, к кому он примкнет, что будет делать и возвращаться ли ему вообще. Пример - интервью писателя В. Конецкого ленинградской молодежной газете в апреле нынешнего года. "Я не знаю, насколько сейчас реальна возможность публикации у нас "Архипелага ГУЛАГа", и думаю, что совершенно не имеют почвы разговоры о возвращении Солженицына в СССР. Он монархист и прекрасно понимает, что если вернется, то встанет в ряд черносотенцев, ему придется заниматься чистой политикой в очень грязном окружении".

- Во-первых, он старый человек, хоть и подкошенный лагерем, но еще сильный духом. И суетой его уже не заесть. Не то что нас, слабых людей. Во-вторых, он человек верующий, о чем забыл Конецкий. А верующие всегда сосредоточены, всегда в себе, помнят о Боге и о труде своем.

Если Александр Исаевич вернется домой, я буду очень рад. И счастлив буду поклониться ему до земли, что при моей жизни это произошло.

Если хватит у него сил.

Но я против возвращения покойников. Считаю, что они находятся уже не в нашем ведении, а в ведении Бога и всяких небесных сил. Я против возвращения праха Бунина. Могила на кладбище Сент-Женевьев-де Буа в порядке. Другое дело, что Бунинский комитет и мы вместе с издателями должны навсегда откупить на этом кладбище землю. Не надо трогать покойников, не надо! Мы пошумим на новой могиле, поснимаем на пленку толпы плачущих и страждущих, поиграем музыку Вагнера или Бетховена, а через года два-три над классиком будет расти крапива. Это же не модная могила Высоцкого с распродажей фотографий. Зарастала же могила Сурикова бурьяном, да и другие могилы великих русских людей зарастали. Солженицын нам всем доказал, что может вполне самостоятельно мыслить, жить, работать и распоряжаться собою. Так что не нам соваться со своим уставом в чужую жизнь, к чему мы привыкли очень.

- Возвращение книг Солженицына - наглядный пример развития перестройки. Еще в прошлом году такое трудно было бы предположить.

- Что прошлый год! Уже в этом году я разговаривал с человеком, в чьей компетенции было - печатать, не печатать. Он сказал: "В круге первом" будут печатать, будут печатать "Раковый корпус". А "ГУЛАГ" - нет. Это антисоветская книга".

Считаю, что перемены в перестройке больше всего произошли в сфере гласности. Переложили Евангелие. Издают Библию. Все это очень хорошо. Но духовное должно подкрепляться материальным. А кое-кто гласность пустил в обратный ход. Уже раздражает она людей. Потому что гласность - глас - уже до неба достала, а на земле-то дела неважные.

Боюсь не того, что с черносотенцами свяжется Солженицын, когда домой вернется. Он сам по себе уже солидная организация. И денежная, и нравственная. Боюсь, он ужаснется, когда увидит, в каком мы состоянии находимся. До какого дошли маразма в отношении к детям, инвалидам, матерям, пенсионерам. Каких бы он ни был семи пядей во лбу, все равно не представляет, что у нас произошло.

- В те годы в материальном плане было получше.

- Лучше-то лучше, но за счет чего? Во времена Сталина было лучше чуть-чуть в городе. Я жил в городе Чусовом на Урале. В нем продукты то исчезали совсем ненадолго, то появлялись. В областном городе - Перми было получше, а вот в чусовских магазинах чаще копченая селедка да лук китайский продавался.

57 процентов крестьян кормили 43 процента горожан. И считалось хорошо. Но на каком уровне жила сама деревня- кормилица? Вот она и опустела. Вымерла. Разбежалось-то молодое поколение. А старое вымерло. От голода, от надсады.

И вот что хотел бы я заметить - у черта на куличках, в американском штате Вермонт, Солженицын все равно остается сыном нашей земли. Тогда как многие из здесь, в нашем Отечестве живущих, давно уже как бы пребывают в другой стране. Духовно отделились от народа, презирать его начали.

- Я все ждал момента, Виктор Петрович, чтобы вернуться к "Одному дню Ивана Денисовича". Огромное значение этой маленькой повести, особенно это видно в наши дни, не только в.открытии лагерной темы. Теперь на тему лагерей издано уже много. Есть поговорка "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Сейчас в литературе, публицистике больше внимания уделяется страданию как раз этих "панов", проигравших Сталину в борьбе за власть, страданию их детей, близких. Их-то и реабилитируют в первую очередь. Вы еще только пытаетесь добиться реабилитации отца, деда, земляков, а на многострадальной земле Магадана поспешили открыть памятник одному из основателей "ГУЛАГа", первому директору печально знаменитого Дальстроя, где добывали колымское золото, Берзину, монтировавшему сталинскую мясорубку, а впоследствии, по логике вещей, также угодившему в нее вслед за своими многочисленными жертвами.

- А что же холопы? Простой народ? Его уже считают чуть ли не единственным виновником страданий панов, развязавших кровавую бойню. Вот и наш шумный и модный поэт называет народ "ленивыми заморскими медведями", за то, что тот молчал в ту пору. Хотя сам-то шустрый поэт в сталинское время отнюдь не молчал, а воспевал.

Солженицын в повести показал страдания простого человека, который в нравственном отношении чище, чем вожди, многие руководители и деятели культуры той поры, которых ныне представляют жертвами и героями-страдальцами.

Кто только русский народ в чем не обвинял! Сейчас начинают даже порицать за то, что и воевали, терпя все, что другие не стали бы терпеть. А что стали бы мы тогда делать, если б не терпели, не подчинялись? Бегали бы по фронту с лозунгами, искали способы заключения мира с Гитлером, отдали бы навсегда половину страны? Терпели, как могли. Во вшах, полураздетые, полуголодные. Медленно, с потерями, но шли вперед. И доставили возможность жить Европе в довольстве, голосовать и голосить всем, кто чего захочет на нашей земле.

Как Иван Африканович в "Привычном деле", так и Иван Денисович - фигуры самые страдательные в России.

Совестливые художники, как их называют, или просто хорошие писатели первым делом озабочены судьбой обыкновенного человека. Того, что и составляет сущность нации, кормит нас. А то у нас часто получается, что те, кто едят, они этого крестьянина ставят на одну доску с палачами.

- Чтобы самим остаться чистенькими, оправдать свое лакейство.

- Солженицын написал простого русского человека с достоинством. Можно его на колени поставить, как Ивана Денисовича, но унизить трудно. А унижая простой народ, любая система унижает прежде всего себя.

Иван Денисович и есть истинно русский человек. Как станционный смотритель Пушкина, Максим Максимыч в "Герое нашего времени", мужики и бабы из "Записок охотника" Тургенева, толстовские крестьяне, бедные люди Достоевского, подвижники духа Лескова.

В конце концов, наши Ромео и Джульетта, "старосветские помещики" были тоже очень простые люди, жили "по вере" и нравственным началам в душе и любили до гроба друг друга, и не хуже аристократов у них это получалось.

Ни один настоящий русский художник не унизил крестьян. Конфетку делали из него иногда, куличик, елочку нарядную - дело другое. Но с почтением к ним относились даже бояре и дворяне. Понимали, кто их кормит, содержит. Вся великая русская литература этим пронизана И дано это лишь истинному художнику - в наши дни, прежде всего, Солженицину.

1993

Беседу вел Е. ЧЕРНЫХ

Пусть у каждого голова болит о своем

("Российская газета". Беседа с Борисом Никитиным)

В Овсянку к Астафьеву еду не впервые. Но, как всегда, волнуюсь: о чем на сей раз поведает Виктор Петрович, какие новые истины обрушит, да и просто - как живется-работается ему в наше смутное время, с его, астафьевской, привычкой не лукавить, не пресмыкаться, с его колючим характером?

Разговор начался, естественно, с Солженицына: в первое же утро своего пребывания в Красноярске Александр Исаевич поехал в Овсянку к Астафьеву.

- Не заметил, как мы проговорили часа три, один на один, рассказывает Виктор Петрович. - Солженицын, в отличие от меня, умеет ценить себя и свое время, поэтому жестко отметает праздную и любопытствующую публику. Интересно, что уже минут через десять я чувствовал себя свободно в общении с гостем, помня, конечно, и о его возрасте, и о более сложном жизненном опыте. Несомненно, Александр Исаевич Солженицын - личность выдающаяся, а в жизни и общении - просто компанейский человек. Я поинтересовался у Александра Исаевича "насчет рюмахи", и он без жеманства объявил; "За обедом одну еще приемлю, а сейчас, извините: впереди рабочий день".

- А ребята, - спрашиваю, - парни-то как?

- Ну как? Они же у меня русские парни-то, и все русское им не чуждо.

Под конец встречи произошла любопытная сценка. Александр Исаевич пообещал прислать мне литературный словарь (там что-то и из моих книг выписано), и я подал ему модную сейчас визитку, которые мне отпечатали перед прошлогодней поездкой за границу, А мне нужно было - так договорились с ним - послать в его "мемуарную библиотеку" часть рукописей-воспоминаний фронтовиков, скопившихся у меня в архиве. И Солженицын записал свой адрес на листке бумаги - никаких визиток у него нет и, думаю не бывало. Более того, я сделал вывод, что он как русский человек и писатель "там", в так называемом свободном мире, сохранился лучше в смысле прочности характера, физического и духовного здоровья, куда как крепче и прочнее стоит на земле, чувствует себя и время острее и яснее, чем мы - сыны соцреализма.

- Что из написанного вами читал Солженицын?

- Насчет своих книг я, естественно, его не спрашивал, но из разговора понял, что он читал мои рассказы, в частности "Людочку", и хорошо знает книгу "Затеси". Попутно сделал он мне замечание, что раз эти самые "затеси" вне жанра, то и не надо их пытаться превращать в рассказы. Александр Исаевич не знает, что порой "затесь" в процессе работы перерастет, развертывается и сама собой превращается в рассказ. Половина, если не больше моих крупных по размеру рассказов, в том числе и "Ода русскому огороду", да и та же "Людочка", выросли из наметок и замыслов "Затесей".

- По каким вопросам касательно обустройства России вы согласны с Солженицыным, а по каким не согласны?

- Об устройстве России говорить нам всем и не переговорить, но лучше бы все же работать каждому на своем месте и как можно усерднее и профессиональнее. Нас губила и губит полуработа, полуслужба, полуинтеллигентность, полуобразованность, полу, полу...

- Виктор Петрович, ну а вы не сожалеете о том, что когда-то не смогли или не захотели стать диссидентом?

- Я не мог стать диссидентом ни ради свободы, ни ради популярности, ни просто так, потому как не готов был стать таковым: семья - большая, следовательно, мера храбрости - малая. Да и внутренней готовности, раскованности (которая, впрочем, у диссидентов со временем "незаметно" перешла в разнузданность, в самовосхваление, а у кого и в непристойности) мне не хватало. Но более всего не хватало духовного начала, которое одно сильнее всякой силы. Я же из того поколения, которое гораздо было заступаться за Анджелу Дэвис и Поля Робсона или

за кем-то брошенную собаку на московском аэродроме, или за весь сразу советский народ, но не за конкретного русского человека. Например, хотя бы за своего сына: на двадцатый день после призыва в армию его бросили во взбунтовавшуюся Чехословакию, куда наши "передовые направители" жизни своих чад не посылали - там ведь и убивали.

И не то, чтобы храбрости моей не хватило, мне просто в голову не приходило протестовать, как-то оспаривать происходящее. Быть может, протест моих сверстников ушел в запас в мае 45-го...

- Сегодня тема войны вновь захватывает нас. Ваш роман "Прокляты и убиты." не может не интересовать многих, и прежде всего фронтовиков. Как работается над новыми главами?

- Вторая книга романа "Прокляты и убиты" под названием "Плацдарм" будет опубликована в NoNo 10-12 "Нового мира" (журнальный вариант). Читал рукопись мой старый и верный друг по литературе - Александр Михайлов, в прошлом командир саперной роты. Он сделал ряд существенных замечаний, которые я постараюсь учесть в дальнейшей работе, но в журнал я с этими поправками уже не успел. Давал читать рукопись одному из генералов-фронтовиков, человеку не просто разумному, но и редкостно среди наших генералов начитанному. Он в целом одобрительно отнесся к рукописи, хотя и принципиально не согласился с тем, как я изображаю "линию партии" на войне, что, впрочем, совсем неудивительно: был он начальником политотдела стрелковой дивизии, а я просто солдатом, и наши взгляды, естественно, не только на "линию партии", но и на многие другие "линии" войны и жизни не сходятся.

- Кроме романа, еще пишете что-нибудь?

- Ничего, кроме романа. Не хватает сил, хотя раньше для разрядки писал что-нибудь для детей или сочинял для отдыха, например "Оду русскому огороду". Есть у меня замысел написать для детей короткую повесть о собаке, но пока усталость после окончания "Плацдарма" еще не дает возможности вплотную сесть к столу - болит голова, дает о себе знать фронтовая контузия. Недавно болезнь-таки доконала моего старого и старшего товарища Юрия Нагибина.

- Нагибин говорил - я сам слышал, - что хотел бы перед смертью пожать руку Виктору Астафьеву...

- Он когда-то - как давно! - еще в 1959 году помог мне первый раз напечататься в московском толстом журнале "Знамя". Познакомились мы ближе гораздо позднее в редколлегии журнала "Наш современник", который в ту пору печатал литературу о жизни и страданиях русского народа, а не прокламации в защиту его. Всю жизнь, начиная с 50-го года, читал все, что печаталось под фамилией Нагибин, всю жизнь испытывал к нему дружеские чувства, при редких встречах и беседах имел возможность если не высказать, то дать почувствовать мое к нему расположение, безмерную любовь к его творчеству. Меня никогда не охватывала зависть к его литературно-киношной удачливости, умению "наживать деньгу", что давало ему возможность хотя бы материально жить независимо. И никакой художественной зависимости или духовной я от Нагибина не испытывал, а вот работоспособности его дивился.

- Виктор Петрович, а теперь, если позволите, не о литературе. Если бы к вам обратились, что бы вы посоветовали нашему правительству или президенту?

- Не мое это дело - советовать правительству и президенту, пусть у каждого болит голова о своем деле. Именно по этой причине еще при Горбачеве я отказался от почетных мест в руководящих органах, равно как и "фрейлиной" ездить в правительственных делегациях, посещающих разные страны.

- Есть ли у писателя Астафьева открытия новых писателей?

- Я открыл для себя не просто интересных, но и серьезных современных писателей: петербуржца Михаила Кураева и тоже петербуржца, но уже покойного - Сергея Довлатова. С восторгом прочел в "Новом мире" "Казенную сказку" Олега Павлова и с чувством редкостного художественного открытия - "Плач красной суки" Инги Петкевич. Правда, дерзкое это произведение с предерзким, но точным названием, наш вежливенький журнал, словно одернув плиссированную юбочку, переименовал

соответственно своему духу в "Свободное падение". Ну что ж, лишнее доказательство того, что падение, да еще свободное нам всем свойственно, а вот взлет?..

Но не спешите горько вздыхать. В журнал роман этот принес член его редколлегии писатель Андрей Битов. Из этого ничего бы - ну принес и принес, случается. Но Инга-то Петкевич - бывшая жена Битова. И это тоже бы ничего. Но, зная вкус, образованность и начитанность Битова, думаю, не мог он не заметить, что проза его бывшей жены (как бы это поделикатней сказать? Да Бог с ней, с деликатностью!) покрепче прозы самого Битова. Поэтому и принес рукопись бывшей жены бывший муж? Если так, значит, в литературе нашей современной не все исподличались.

1994

Остановить безумие!

("Уральский рабочий" г. Екатеринбург)

Прежде всего мне хочется поздравить давно мною уважаемую газету "Уральский рабочий" с достославным юбилеем и пожелать ее сотрудникам всего того, чего желают добрым людям в праздник.

Выступая в прошлом году на юбилее "Красноярского рабочего", я назвал вашу газету в числе лучших газет России потому, что "Уральский рабочий" и в годы всеобщего помутнения российского разума, во времена беспредельной власти многоступенчатой цензуры, умудрился быть широкочитаемым и почитаемым изданием, не боялся или - точнее - боялся в меру ставить острые вопросы бытия и сосуществования с властью, которая в Свердловске была, как и во многих российских городах, тупа, но уж зато сверхамбициозна. И еще я говорил о том, что уральской и красноярской газетам повезло с названиями оно оказалось долговечно, не то что издания аграрного уклона - эти переименовывали все кому не лень, все плотнее приближая их к "народному вкусу" - по "желанию читателей". Стало быть, к абсурду, к убогой морали, гремящей ржавыми зубьями советской пропагандистской машины.

Да, многое, очень многое изменилось в нашей стране и в народе, и, как всегда на Руси, "с маху под рубаху" - не спросясь и не подумав, готовы ли мы к таким крутым переменам и переворотам, сможем ли мы, так долго жившие и работавшие под идеологическим конвоем, с губами, порванными железною уздою, ненаученные дышать полной грудью, молвить громкое слово без оглядки, воспользоваться обрушившейся на нас свободой. Свобода для народа незрелого, нравственно запущенного, с изуродованным сознанием - со смещенными понятиями добра и зла, - то же самое, что бритва в руках ребенка. Вот мы и пообрезались, и хнычем, ищем врагов, вопием, но чаще в растерянности тупо молчим, не понимая, что происходит вокруг нас. То ли дело было совсем недавно: дядя за нас думал, дядя вел нас прямиком к "светлым вершинам", предупреждая, что шаг влево, шаг вправо делать нельзя - опасно, и за послушание дядя же давал баланду, а кому и кашу с маслом.

Как я себя чувствую? "Всяко-разно", как говорят на Урале, но внутреннее освобождение врасплох меня не застало, я, может быть, готов был жить и работать при любых обстоятельствах, не очень обращая внимание на перемены погоды, я не по капле, но по бисеринке выдавливал из себя раба, хотя и ощущаю, что раб этот так глубоко и плотно заселился во мне, таким поганым, сосущим глистом прилип к моему нутру, что до конца моих земных сроков не выжить мне его из себя, как и всему старшему поколению моих соплеменников. По-настоящему свободных людей встречал, но не у нас, а за границей, хотя сейчас есть молодцы, которые громко заявляют, что они всегда были независимы, жили, как им хотелось. Неправда это иль наивное заблуждение - современный человек даже улицу перейти свободно не может, а уж жить свободно...

Я всю свою творческую, а может, и не только творческую жизнь готовился к главной своей книге - роману о войне. Думаю, что ради нее Господь меня сохранил не только на войне, но и во многих непростых и нелегких, порой на грани смерти, обстоятельствах, помогал мне выжить, мучил меня памятью, грузом воспоминаний придавливал, чтобы я готовился выполнить Его завет рассказать свою правду о войне. Ведь сколько человек побывало в огненном горниле войны, столько и правд о ней они привезли домой.

Есть, есть высшая сила, приуготавливающая человека к тому или иному свершению - не случайно ж я начал воевать в тургеневских и бунинских местах. Волной военной занесло меня и "к Гоголю" в Опишню, Миргород и Катильву. Воевал я на 1-м Украинском, а вот бросили нашу часть к шевченковскому куреню - на уничтожение Корсунь-Шевченковской группировки, в помощь 2-му Украинскому фронту, только-только перешли границу, и вот под городом Ярославом я уже в усадьбе магнатов Потоцких, где и парк, и дом сплошное искусство, а затем и к Шопену в гости заносило...

Уже в начале работы над романом начали твориться чудеса: безвестный читатель мой прислал мне тетрадь с записями окопного немецкого сленга. Свой-то жаргон я хорошо постиг, а немецкий мне был неведом. Тут же из Москвы приходит книга под названием "Скрытая правда войны 41-го года", а следом - из Германии альбом воспоминаний о войне, где письма фронтовиков отобраны не по нраву цензоров, не исправлены главпуровцами, а война в снимках и текстах, какая она есть, страшная, неприглядная, бесчеловечная.

Немцы, начиная с романа Рихтера "Не убий", изданного в 1947 году, пишут, пишут и написали свою правду о походе на Восток, о трагическом поражении, чтобы все, у кого чешутся руки, осознали деяния фашистов, а мы все тешимся той правдой, которую навязала нам наша лживая пропаганда, и верим, что красиво, героически воевали, чем подзуживаем реакционно, агрессивно настроенных людей, среди которых немало и молодых, не знающих куда себя девать. Вот нас и "умыли" снова кровью, на этот раз на Кавказе.

"Кто врет о войне прошлой, тот приближает войну будущую". Вслушиваться бы и повнимательней вчитываться нам в эти вещие слова, многих бы мы бед избежали, от гонора властителей мира сего скорее бы избавились.

Сейчас я готовлюсь к третьей книге романа "Прокляты и убиты". Но в прошлую осень тяжело переболел и до сих пор не поправился до конца, а роман писать - это все равно что телегу с каменьями в гору везти.

Жена моя, Мария Семеновна, урывками, как я говорю, "между стиркою кальсон и варением пищи", тоже маленько пишет. К нашему юбилею совместной жизни - 50-летию - написала и издала книгу "Знаки жизни". Потом очень долго корпела и составила свою родословную - "Земная память и печаль", весьма интересную и поучительную для тех, кто тоскует и никак не хочет забыть наше "светлое" прошлое. Супруга моя из девятидетной уральской рабочей семьи, большую часть которой сокрушила война, - есть чего записать и вспомнить. Кроме того, она "секретарит" у меня, печатает на машинке и, хотя здоровье ее не просто подорвано, а "разорвано на куски", без дела сидеть не может, иногда, держась за стенки, тащится в кухню, затем в библиотеку - и стучит, стучит на машинке. Сделала вот почти титанический труд - отобрала две тысячи страниц писем читателей, друзей - ко мне, часть писем и моих, организует как-то и где-то издать эти письма, документ, можно сказать, откровение современной жизни.

Благодарю вас за вопрос о моей жене. Нечасто мне его задают и предоставляют возможность высказать добрые слова о моем вечном, единственном спутнике и неутомимом, сверхтерпеливом помощнике. Литератор Виктор Астафьев - не подарок для жены и близких своих, не был он подарком и в солдатиках в 1945 году, когда сходился с Марией Семеновной в нестроевой части, куда попал после госпиталя.

Поговорка есть очень бодрая, должно быть, большевистская - они большие мастера насчет ободрений и боевых выкриков: "Все, что ни совершается, - к лучшему". Но слишком уж много вокруг нас того, что дает основания усомниться в этом оптимистическом заверении.

Лет уже 15 тому назад, будучи на Конгрессе сторонников мира в Варшаве, я спросил насчет нашего будущего у академика, хорошо осведомленного в земных делах, и он сказал, что если мы немедленно начнем разоружение по всей земле, погасим военные печи, в которых сгорает драгоценное сырье, и одновременно начнем починку неба, лечение земли, очищение морей, океанов и рек, то мы еще сколько-то протянем, но если этого не случится, то мы подойдем к той черте, точнее - к краю, когда никто уже не возьмется угадывать - сколько нам осталось быть на земле - 40 лет, 400, четыре ли тысячи... Мое мнение: до края того совсем недалеко, ведь человек не отказался пока ни от одной услуги гремящего прогресса, и не поумнел он, но нахрапистости потребителя в нем добавилось: окиньте взором Урал, и вы увидите,

на что способен человек-самоистребитель.

Россия на земле не сама по себе, она сожительствует со всем человечеством, а человечество-то поет и пляшет, мчится, давя колесами собратьев своих, и палит из все усовершенствующегося оружия во все стороны. Безумие, утрата ценности человеческой жизни и крови, желание отобрать, хапнуть, обмануть, но не заработать хлеб свой - вот самые убедительные признаки жизни на земле на исходе двадцатого, может быть, предпоследнего века земного существования.

И дальше-то утешительного нет: генетики пророчат, что через четыреста тысяч лет из мутных вод выползет крыса, съест другую крысу - и пошло-поехало развитие жизни на земле, вперед и дальше - таков мол, генетический код планеты Земля. Ну что тут скажешь? Руками разведешь, анекдотец расскажешь и с шутками-прибаутками плясать пойдешь - лучше уж доживать весело и бездумно, чем унывать и заранее в могилу ложиться.

Вы спрашиваете меня, как я встречал 50-летие Победы. Все эти праздники, начиная с сорок пятого года, я воспринимаю и провожу как день поминовения убиенных на войне, никогда не ходил и не хожу ни на какие сборища и приемы, где ветераны пьют казенную, бесплатную водку и трезвонят о своих и всеобщих подвигах, не чувствуя неловкости и стыда перед погибшими товарищами. Какова бы ни была цифра наших потерь, а она упирается в сорок семь миллионов, война, где впервые в истории человечества мирного населения погибло больше, чем солдат на войне, - не может считаться праздником и поводом для веселья, словоблудия, маршей и песен. В этот день надо всей России молиться, просить прощения у тех, кого мы погубили, и прежде всего у женщин и детей, уморенных голодом, иль хуже того, вовлеченных в вопиющую мясорубку.

Обращаю внимание, что противник наш почти не вовлекал женщин и детей в окопы, в дикость, кровь и грязь войны. Только когда наши армии влезли в тесные, каменные улицы Берлина, женщины начали защищаться, дети и старики садили из всех окон фаустпатронами в бока наших танков и машин. На улицах Берлина - произнести и то страшно! - одновременно горело 850 наших танков. Генерал Бредли, узнав, что штурм Берлина обойдется его армии в сто тысяч душ, отказался от этой операции. А нам никого не жалко! Как говорит персонаж Шукшина из "Калины красной": "Мужиков в России много". А вот уже и не много, продолжитель- ность жизни этого непутевого создания приближается к пятидесяти годам, да и те мужики, что есть, не хотят жениться, сидят по тюрьмам и лагерям, избивают друг друга в военных казармах, норовят податься в бомжи, в сексуальные меньшинства, а больше пьют, гуляют, прожигают и без того короткую свою жизнь.

Да, хотелось бы быть оптимистом, но в мои годы, с моим жизненным багажом сделаться оптимистом, не так легко и просто. Но жизни, подаренной нам Господом, надо радоваться и дорожить ею. В тридцатых годах эшелоном везли куда-то на расстрел русских священнослужителей. Родственники одного священника- смертника как-то ухитрились повидаться с ним в Красноярске и, обливаясь слезами, спросили: "Что же нам-то, здесь остающимся, делать?" И смертник ответил; "Радуйтесь!"

Для меня этот завет сделался нравственной опорой. Может, кому-то из читателей ваших он тоже поможет укрепить дух свой, добавит оптимизма, вселит веру в будущее. "Разум радостно тяжелеет", - сказал недавно мой друг-поэт, я и желаю, чтобы разум людей тяжелел от умной книги, великой музыки, познания самого себя и мира Божьего.

Благодарю "Уральский рабочий" за предоставленную мне возможность поговорить с уральцами - ведь на Урале прошла моя молодость, прожит кусок сложной, в том числе и творческой жизни в 24 года длиною; частица сердца, и немалая, оставлена на этой прекрасной и многострадальной русской земле,

1996

Жизнь по-новому

Результатом длительного господства тирании

является развращенное общество,

общество истерзанных душ,

лишенных понятий чести и достоинства,

справедливости и добра.

Никколо Макиавелли

Десять часов отсидки в Красноярске. Пять часов в Карачи. Опоздали в Потайю на 14 часов. Все лучшие номера заняты-розданы, нам со внучкой достался номер с видом на крышу кухни, над которой работают мощнейшие вентиляторы, в номере чад и дым и все время что-то ноет, дверь плохо отворяется новомодным ключом.

Вспоминаю, как в домах творчества, где и бывали-то раза три-четыре, нам всегда доставались худшие комнаты и непременно напротив сортира - вот обхохочется жена моя, узнав про таиландское наше жилище. Я чувствую себя неважно. Думал, после "ударного" рейса, нет, и сегодня общий дискомфорт, и Ольги Семеновны, врача "нашего" нет - некому пожаловаться. Одна радость: внучке живется вольно, меня не слушает, все разбрасывает. Дома бабушка ругается, подбирать заставляет. Здесь я замещаю бабушку и не ругаюсь уж бесполезно. Сказал ей: "Ох, и попадется же тебе растрепа-мужичонка и будет обосран с ног до головы или лупить будет тебя день и ночь!" "Нетушки! - как всегда открыто и убежденно выпалила она, - я сама его отлуплю!"

И еще радость: читаю и подпрыгиваю от восторга книгу Якова Харона, присланную Алешей Симоновым, "Злые баллады Гийома".

В гостинице "Амбрассадор", где мы с Полей жили, нет ни радио, ни градусника, ничего нет, бассейны есть, кормилища, наподобие наших прежних рабочих столовок и торговых точек, с полусырыми шашлыками, выпивкой и мороженым, - все, все направлено на выкачивание денег, все настроено на один лад. Телек тоже черно-белый, по нему бегают и молятся тайцы.

Прилетели в Таиланд в основном так называемые "новые русские" нисколь они не лучше своих дедов и отцов - мудаков-коммунистов и околокоммунистического быдла. "Новая срань" - вот бы какое им пристало имя! Пьют, жрут, серут, где попало, ходят в золоте. Одного молодого я спросил, знает ли он, как называется золотая, роскошная, в то же время безвкусная вещь, навешенная на его бычью шею, по груди, разляпанной волосьем и наколками? "А на х...? - Мутно и сыто глядя на меня, спросил он. Расскажи, если знаешь".

И я рассказал, что это диадема Македонского, пришедшая на восток вместе с его тупым и надменным воинством. "Ну и х... с ним, с македонским-мудаковским этим!"

Невежество умножает хамство, попытка роскошно жить выявляет духовное и душевное убожество - развлечения и запросы на уровне зулусов, музыкой пользуются тоже зулусской, да еще в карты играют - всюду в дурачка дуются, пьяно хохочут, сверкая золотыми зубами, видать, повыдирали свои родные зубы, чтобы навставлять золотые.

И нравы! Нравы!

В холле гостиницы, обняв большую мягкую игрушку, второй вечер безутешно плачет дитя. В шелковом, воздушном платьице, со многими восточными косичками, модно украшающими ее головку, в косички вплетены красивые восточные висюльки. Безутешно плачет модно одетое дитя, родители ее где-то развлекаются, сообразительные деляги, еще теми, своими руководящими родителями, скорее всего, партноменклатурщиками, наученные никого и ничего не уважать и по возможности эксплуатировать ближнего своего.

Выведут дитя родное, заботливо украшенное, в холл, бросят, зная, что найдутся сердобольные "старые" русские и приберут ребенка. Вокруг этой плачущей девочки толпятся эти самые русские, ахают, возмущаются, мужики сулятся родителям морду набить.

Но вот она, еще молодая, тоже разодетая модно, появляется в холле, возмущенно восклицает: "Опять?!" - и девочка бросается к ней: "Тетя Таня! Тетя Таня!" - знакомая ей молодая женщина подбирает девочку, с сердитым выражением на лице, со слезами, тянет к себе и "спасает" ее весь вечер, пока родители, пьяненькие,

беззаботные, вернутся домой.

И Таня же еще ж ищет их по всей гостинице, ибо те "новые русские" соображать давно научены, предусмотрительно не говорят, где их комната, где девочкин номер.

Таня сдает спящую девочку с рук на руки в "рецепцию", и родители, крадучись, забирают ее к себе.

Житейская явь и пошлость

Жизнь разнообразна, жизнь затейлива.

В тот день, когда пришло письмо от женщины из Выборга, кстати называющей себя "верным ленинцем" и кроющей Сталина за содеянные злодеяния и желающей, чтоб "всех вас, писателей, перевешать", было еще несколько писем. Я выбрал наиболее интересные.

Письмо от фронтового друга с Алтая: "...знаю, что здоровье в вас плохое, но все равно надо терпеть хотя бы до двохтысячелетия, а может, и больше..."

Друг мой, с которым мы прошли Сибирский стрелковый и автополк, воевали в одной артбригаде рядовыми бойцами, из семьи украинских переселенцев, и простим ему милые странности в обороте речи. Я ему и" всегда прощал, хотя порой по молодости лет и потешался над ним:

"...пару слов о себе. Живем по-прежнему. Деревня. Каждый день одно и то же, встал утром, поработал часок и до вечера делать нечего зимой. Сын задумал свой дом построить, но забота вся наша, поеду в тайгу лес добывать. Его затея, а деньги и забота отцовская. Но он хочет, чтоб под старость лет мы с женой жили с ним. Но еще ничего, сердца наши покуда дышут..."

Письмо от новоявленного пророка под названием "Первое послание к ивановцам Москвы от Георгия Биоспольского": "Братья и сестры московские! Здравствуйте! Благодать вам и мир, и здоровье, и Воскресенье от Бога Духа отца нашего и Господа животворящего Порфирия Корнеевича Иванова. Посылаю Вам "символ веры ивановцев" записанный мною, слугой Господа животворящего".

И далее о вере, о Иисусе Христе, Богочеловеке, распятом за нас, и наставления "от богочеловека второго пришествия Порфирия Корнеевича Иванова", в общем-то почти совпадающие с древними канонами правила ежедневно исповедаться, самопричащаться "безубойной пищей", заниматься самопокаянием, самосвящением, жить по совести и т. д. и т. п., и еще общее дело "самовоскресенья" - очень занятное: "Детка! Я прошу, я умоляю всех людей - становись и занимай свое место в природе. Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и трудом в природе, себе на благо, чтобы тебе было легко. Детка! Ты полон желания принести пользу всему советскому народу, строящему коммунизм. Для этого ты постарайся быть здоровым душой и телом, прими от меня несколько советов: два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь: в море, в озере, в реке, в ванне или обливайся и окунайся на пустой желудок", и много там добрых наставлений насчет купанья, закаливанья организма, еды, питья и даже... "не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Не сморкайся. Здоровайся со всеми, помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся... Победи в себе жадность, лень, самодовольство, страх, лицемерие, гордость, гнев, зависть, уныние, похоть, не хвались, не возвышайся, не употребляй алкоголя, не ругайся. Освободи голову от мыслей о болезнях, смерти. Это будет твоя победа".

И еще очень маленькое, занятненькое послание-поздравление из Ворошиловградской области, из города Артемовска, из детского клуба под названием "Бригантина":

"Наша зимняя картинка к нам приходит в класс. С Новым годом! "Бригантина" поздравляет вас" - совет клуба.

Я как-то в одной школе сказал в меру подкрашенной, в модные вельветовые брючки одетой учительнице, нехорошо, мол, получается, отряд-то пионерский, а название у него "Корабль разбойников". "Да что вы говорици, удивилась она, - но это так красиво звучит..."

Нам абы красиво было, а там хоть трава не расти - горят неугасимо вечные огни супротив горсоветов в грязных, будто бы только что бомбежку переживших райцентрах, а кладбище запущенное, коровы по нему и козы бродят, в крупных селениях и райгородах, где шла война, пионерские отряды строем, чеканным шагом ходят, стоят торжественно в форме подле вечного огня, а рядом в лесах и полях скелеты валяются и белые косточки убиенных, возле них вечный огонь трепыхается.

Или вон столичная мода и до провинции докатилась, повергла ее и возбудила: по сценам гоняют большеротых девок в купальниках, королев красоты выбирают. В советских городах и селах жрать нечего, очереди, давка в общественном транспорте, грязь в общежитиях, нищета в домах ребенка, и вот, значит, тут королева красоты, скоро и короля выберут.

Ах, пошлость, пошлость, кажется, она и в самом деле вперед нас родилась!

Страдание

В потрясающем, быть может, самом великом фильме о прошлой войне "Восхождение" Ларисы Шепитько, не понятом и не принятом нашим "передовым и мыслящим зрителем" по причине сложности, есть "кино в кине" - это когда к смертникам в подвал зашвыривают девочку-еврейку. Оглушенная, растерзанная и в чем-то уже перед всем светом виноватая за свой "позор", еще не оформившаяся в женщину, даже и не приблизившаяся к ней, но уже изнахраченная, изувеченная скотами мужского рода, она лишь глазами выказывает непомерное страдание и страдание не сиюминутное, не летучее, не короткое, а то, которое веками несла и несет в себе женщина всех веков, всех земель. Ребенок страдает молча взрослым непереносимым страданием, и обреченность ее на это страдание, молчаливое принятие боли, стыда, погубленности судьбы, так рано и безвинно разбитой. И еще - покорность судьбе и боли.

Все, все это мгновенно оценила, поняла и приняла взрослая женщина-мать, святая, прошедшая уже через "женскую судьбу". Она сдергивает с себя полушалок, накрывает им девочку и прижимает ее смятую, простоволосую к своей уже надсаженной, почти отболевшей груди, к этому вечно мучающемуся за всех женскому необъятному сердцу.

Девочка приглушенно, украдкой плачет и стонет, прижимаясь к понимающему ее сердцу, по-детски беспомощная, безоружная, обреченная. Взрослая женщина, жалея ребенка, в то же время прячет ее невольный "грех" от посторонних мужицких глаз, пытается не только пожалеть, но и скрыть преступление, за которое есть одна лишь достойная кара, кара Божья, которую понесли и несут насильники всех времен.

И когда вешают партизан и девочку заодно, не зная вроде бы, куда ее девать, на ней внимание не заостряется, ее, как муху со стола, смахивают, родилась, росла, не успела вырасти, приняла муку - и делать ей больше на земле нечего.

Такое и так могла снять и показать только женщина, а Шепитько была удивительная женщина во всех своих фильмах! Как она понимала и как ненавязчиво, но упрямо и стойко тыкала носом мерзавцев всех времен и земель в мужское вонючее дерьмо.

К вершинному течению

Ответ на классные работы учеников

Прежде всего отраден сам факт, что учащиеся школ выступают в роли критиков и не просто "разбирают" прочитанное, но пытаются поразмышлять о прочитанном. И порой попытки эти вполне самостоятельны, свежи, как и полагается в общем-то мыслить детям, еще не испорченным "жизненным опытом", и с сознанием, не деформированным формализмом и казенщиной в преподавании литературы и истолковании творческого процесса.

Только неиспорченный человек, чисто и уважительно воспринимающий труд писателя, может сказать: "созданная на страницах книги жизнь требует бережного к себе отношения..." Вот бы нашей "взрослой" профессионально работающей критике прислушаться, и повнимательней, к тому, что "глаголят уста младенца".

Ибо сплошь и рядом критика наша, независимо от того, есть ли в книге жизнь, нету ли ее, рассматривает художественное произведение, как некую конструкцию по давно заданной механической схеме (и если схема эта не совпадает с той, которая ведома критику, он раздражается, начинает фыркать, уязвлять автора всезнанием,

примеривает книгу на себя, как платье или штаны).

Ведь это сейчас, когда уже целое направление "деревенской прозы" утвердилось и утвердило себя, сделалось модно апеллировать к ней по делу и без дела, выдавать как "эталон слова", числить ее "значительной в размере художественной мысли современного общества".

Любой "деревенщик", порывшись в столе, найдет вам десятки отповедей тех же критиков, где в закрытых рецензиях, давая "отлуп" тому или иному, ныне широко известному произведению, глумливо, с интеллектуальным сарказмом писалось, что в "век НТР и этакая вонь онучей?", "да куда же вы идете-то и насколько же отстали от жизни и передовых идей?" Очень бы хотелось надеяться, и критические ответы учащихся обнадеживают, что самостоятельное прочтение книги, собственное ее восприятие восторжествует, наконец, над так называемым коллективным, то есть казенным мышлением, которое столь бед уже принесло и продолжает приносить преподаванию литературы, приспосабливая мысли к сегодняшним людям и требованиям, точнее сказать, к поветриям, которые, как известно, меняются в зависимости от погоды, и сами меняют погоду, угождая тем и тому, кто умеет держать нос по ветру.

Чрезвычайно интересно, что отзвуки читательского восприятия, делящего мир на белое и черное, на "можно" и "нельзя" нашли отражение и в детских работах. Категоричность девочки- девятиклассницы в восприятии и истолковании произведения, которое и сам автор до конца объяснить не может, потому как "сотворение жизни" пусть и в книге, есть все-таки тайна, категоричность эта пусть будет упреком не ей, а всем нам - писателям, критикам, учителям.

Выступал я когда-то много, от Мурманска и до Владивостока проехал, сохранил записки из зала, рассортировал их, и отсортированные записки из педвузов, школ и студенческих аудиторий вызывают не только чувство грусти, но и страха.

Страшновато и за эту девочку, что уже сейчас так небрежно "судит" книгу и не просто "судит", но и "выводы делает". А что если она пойдет в педвуз, и потом преподавать литературу в школе станет? Характера ей не занимать, самоуверенность уже есть, к этому еще прибавится опыт и высшее образование?

Тут невольно и приходит на ум слово модное ныне - "перестройка" и надежда на то, что педагогическая наука воспримет его, не как многое прежде воспринимала, то есть не формально.

Ах, как хочется надеяться, что молодые "критики мои", умненькие, начитанные ребята не остановятся на достигнутом, не закоснеют от казенных наук в казенных помещениях, а так вот и дальше, с мучениями, сомнениями, преодолевая себя и рутину общественного сознания, будут карабкаться вверх и дальше по отвесной стене мироздания, отыскивая свои ориентиры, нехоженые тропки в будущее.

И всегда будут помнить при этом - прочитанная ими книга была ступенькой вперед, а если вышло - назад, значит, и сам творец, карабкаясь ввысь, сорвался со стены той, но ломая ногти, кровавя холодный камень, снова и снова карабкается вместе с вами к высотам познания, к постижению того, что зовется смыслом жизни, и мечтает поведать об этом так, как до него эту работу еще никто не делал, никого не повторяя, никого не унижая, помня лишь о конечной высшей цели - стремлении к добру и свету.

Видели ль вы когда-нибудь, как проходит порог или водопад дивная по красоте и вкусу, светловодная рыба хариус? Однажды на Урале я просидел почти сутки у водопада и забыл даже рыбачить - рыбки, казавшиеся в падающей лавине воды беспомощными, маленькими, час за часом стремились вверх, висели меж "низом и верхом", работая всеми перышками, хвостом, телом и, поймав миг, воздушный разрыв в струе, мгновенно продвигались на сантиметр-другой к месту икромета. Иные рыбки, добравшись почти до слива водопада, обессиленные падали вниз, в кипящую бездну, отходили в затишье, за камни и устало шевеля жабрами, отдыхивались, набирались сил для нового броска, борьбы с родной стихией, для достижения своей цели...

Творчество, всякое настоящее творчество, в том числе и писательская работа, чем-то схожа с этой великой работой обитателей водной стихии, в их непрестанном стремлении к вершинному течению, к продлению рода своего, а значит, и жизни на

земле.

Пока человек жив - он должен и обязан творить добро, и чем больше он его сотворит, чем яростней будет устремлен к нему, тем меньше места на Земле останется злу.

1980

Комментарии

Публицистика сама по себе есть уже комментарий к жизни, или точнее, авторский взгляд на нее, который, конечно же, часто не сходится со взглядом и мыслями просвещенной и всякой иной публики, любящей высказывать свое мнение о всяческих явлениях жизни общества и настаивающей на нем, на своем мнении. При этом, как показывают современная действительность и почта ко мне - чем невежественней, дремучей и безграмотней "мыслитель", тем он оголтелей настаивает на своем и порой уж готов защищать собственное мнение на кулаках.

Иной раз целый том накатает человек с философским уклоном, настаивая на том, что жизнь недавняя, при коммунистах, значит, была хорошая, сейчас вот - плохая: все распродали, разворовали в России, и виноват во всем этом нынешний президент и его окружение, и что если обратно все вернуть "свергнуть режим", так все разом и изменится к лучшему.

Иные авторы, все это, мною кратко, но исчерпывающе изложенное, подкрепляют изречениями из марксизма-ленинизма, чтоб убедительней было, так еще и из Библии иль Евангелия цитатку ввернут. И умствуют упоенно, самозабвенно умствуют, любуясь собой, своей начитанностью и "глубиной мышления", хотя "глубина" та бойкими устами изреченная иль пером нарисованная, а также и философские откровения бывают на уровне неимоверного "открытия", что черная корова тоже доится белым молоком и Волга впадает в Каспийское море.

При подготовке этого тома мне было любопытно прочитать себя и просмотреть свою публицистику, свои размышления и "откровения" не за один уже десяток лет. Много запальчивости, много лишнего, много и вздорного наговорил я за эти быстротекущие годы, особенно в интервью и разного рода беседах с корреспондентами разных газет, журналов и изданий. Есть пагубная техническая штуковина у современных журналистов - диктофон. На мой взгляд он не только дисквалифицировал и ленивыми сделал многих, уже опытных и небесталанных журналистов, но и губительно сказался на всей современной журналистике. Год от года приборчик этот становится компактней, совершенней, и год от года пользующиеся им, теряют право на то, чтоб называться творческим человеком, в частности, журналистом. Моя покойная тетка, умевшая потешно, однако точно по смыслу, перевирать русские слова, называла их "жульнаристами". И "жульнариста" из журналиста сделала клятая машинка-диктофон, якобы облегчившая работу "захлопотанному" человеку, куда-то все время спешащему, что-то все время "охватывающему", "отражающему", за чем-то с высунутым, не языком, нет, а записывающей коробочкой гоняющемуся, что-то пытающемуся схватить за хвост.

Часто впопыхах, на скаку, на бегу, в шуме и гаме записывающееся, при "расшифровке" домысливается, дописывается, договаривается за собеседника, когда и навязывается ему. Поскольку человек боялся и боится всякой записывающей аппаратуры (знаю это оттого, что полтора года работал на советском радио собкором по северу Пермской области, и пусть примитивная, громоздкая техника была и таскал ее, и эксплуатировал человек под названием техник), все же она пугала людей и клиент или собеседник перед микрофоном часто глупел, балдел и нес такую ахинею, что хоть святых выноси...

Вот и нынче: техника-то хоть и маленькая, милая, да страх перед нею и растерянность остались прежние. Кроме того - настроение, ну край как не хочется не только говорить с "жульнаристом", но и видеть кого-либо тем более с машинкой, но тебя просят, умоляют, настаивают, говорят, мол, командировка пропала, жена болеет, очередь на квартиру снесут под корень, ребенка в садик не примут...

Ну вот, больной - не больной, в настроении - не в настроении, садись, подставляй рыло к машинке, ибо сам когда-то маялся на этой работе, а тут еще окажется, что интервьюер не готов к беседе, не знает, какие вопросы задавать, и просит поговорить о чем-нибудь, чаще о современной политике, ибо "близко лежит", и

голову ломать не надо. Потом городит за собеседника все, что ему в удалую и безответственную башку взбредет, а подпись-то его в конце материала, мелко набранная, и на нее, как правило, никто внимания не обращает, и потому все матюки и поношения радиослушателей, читателей газет и особенно телезрителей - наиболее массовой аудитории, обрушиваются на голову того, кого спрашивают, но не того, кто спрашивает...

Нет, я за ручку, за карандаш и блокнот - машинка-техника развратила журналиста и потому-то большинство бесед и интервью с журналистами, в том числе и со столичными, я отложил в сторону, оставив из них лишь несколько штук, на мой взгляд любопытных, что-то оригинальное по содержанию имеющих. Однако беседы или ответы на вопросы, заданные в письменной форме, я включил в книгу. Здесь журналистской отсебятины нет или почти нет, и за материал отвечаю я, с меня и спрос. Как говорит моя добрая знакомая, умно мыслящая женщина, директор Пушкинского музея, Ирина Александровна Антонова: "Ответы на вопросы - это лишь двадцать процентов разговора по тому же телевидению, остальное зависит от умного вопроса. К сожалению, все меньше и меньше остается в журналистике тех, кто умеет задавать умные вопросы, вот отчего я и исчезла и с экрана, и из эфира, и с газетных полос..."

В молодости я горазд был потолковать, погорячиться, иногда и побушевать в прессе, особенно насчет природы, литературы и морали. Поскольку природе мои буйные словеса не помогли, мораль, сами видите, где и как существует, а литература, такое серьезное дело, понял я после сорока лет работы в ней, что никакой трепотней, даже очень ловкой и красивой, ей не поможешь, то из ранних бойких статеек оставил лишь несколько - "для образца". Любопытна, в некотором смысле, статья, печатавшаяся в журнале "Урал" - "Нет, алмазы на дороге не валяются". По поводу этой, ныне невинно читающейся статейки разгорелась такая горячая полемика в уральской печати, что пришлось ее унимать и заканчивать постановлением Свердловского обкома, где было сказано, что я, автор статьи "Нет, алмазы...", - изначально безответственный, безыдейный, не более и не менее, как нарушил "ленинские нормы".

Признаться, я не очень испугался этого постановления и слов о ленинских нормах, от которых иные товарищи в ту пору в ботинки писали и с сердечным приступом в больницу ложились. По легкомыслию своему, не иначе, я даже и гордился про себя, что нарушил нормы-то, ленинские-то. И теперь, во зрелом возрасте лишь сожалею, что редко их нарушал иль нарушал шумно, в гулевом застолье, либо в лесу, на охоте.

Особое место в книге занимают рецензии, предисловия, заметки о книгах периферийных писателей. Далеко не все они попали в эту книгу, иные вяло и неинтересно написаны, иные авторы "не развились", не сделались сами "интересными", выскочили, прокукарекали, но не светает, и унялись, бросили мучить бумагу иль прониклись тяжелой завистью к тем своим собратьям по перу, что с ними начинали и не отстали от этого тяжкого, часто и неблагодарного дела, и порой эту зависть раскаляют в заскорузлой душе до ненависти, как бросовую железяку в забытой кузнице, и готовы той железякой голову расколоть тем, кто терпит, работает и не жалуется на "режим", который погубил его талант и заморил голодом.

Признаться, я не то что горжусь этими материалами, но радуюсь и доволен тем, что знал в литературе многих людей, дружил с ними и смог в меру сил моих помочь им, душевно откликался на их сердечный порыв ко мне, а то и просто помог книжку напечатать, литератором себя почувствовать, приучал к работе тяжкой, всепоглощающей, да не к прогулкам по цветками поросшему литературному лужку.

Публицистика - это сегодняшний, текущий день. От нее пишущему и мыслящему человеку никуда не деться, как бы он ни старался "отвертеться" от нее.

Вот составил книгу и обнаружил, как мало писал и беседовал я о нашем русском языке, подверженном небывалому браконьерству и пагубе от социалистической лагерной действительности; совсем мало писал о театре и музыке, а ведь жил ими, укреплялся ими, да и существовал, обогащаясь духовно, не впал в скотство и пьянство благодаря им.

Думам, хоть они порой и "окаянные", нет конца, значит, и размышлениям на бумаге нет пределу, - пока живу, значит, мыслю и страдаю, да простит меня гений русский

за повторение его прекрасных слов.

1998

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://astafevvictor.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения!